

Юрий МАЛЕЦКИЙ

КОНЕЦ ИГЛЫ

НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ

От автора. С незапамятных времён бродил я вокруг да около одной темы. 25 лет тому, как я впервые решился подступить к ней — и написал что-то вроде повести, встреченной теми, кто с ней ознакомился, в целом сочувственно; мне, однако, с тех пор и по сию пору всегда казалось, что *про это* я сказал тогда не так, не на том уровне, на котором *про это* надо говорить. То есть, за исключением лучших страниц, именно что сказал — и только. А сказать-то надо так, чтобы «слово стало плотью». Надо, непременно надо будет когда-нибудь это переписать... Когда-нибудь потом, когда напишем всё остальное.

Всякому «когда-нибудь» выходит срок, любое «когда-нибудь» — когда-нибудь становится «сегодня». Раньше или позже, но я был обречён подступить к теме ещё раз, попробовав одолеть поставленную ею самой планку со второй попытки. Вот оно и наступило, меня не спрашивая, — сегодня. И я написал повесть заново. Рано это или поздно — через четверть века? Это не вопрос. Вопрос только в результате.

Для автора-то, впрочем, и это не вопрос: с него, то есть, получается, с меня — «довольно сего сознания», простого ощущения, что сейчас повесть такова, какой и должна быть: что называется, «тема раскрыта» — и раскрыта, как мерещится автору, в уровень с темой. В смысле — именно такой я, как сегодня ретроспективно кажется, и хотел видеть повесть 25 лет назад. Или скажем иначе: теперь, в том виде и объёме, который она впитала, я ею «доволен» как «взыскательный художник» — пусть всякая взыскательность в отношении себя-любимого и самозвана, но для написавшего лакмусовой бумажкой является тот «медицинский факт», что, поставив последнее многоточие, автор с тех пор, наконец, мирно спит без сновидений.

По всему по этому вопрос — один единственный — только в том, будет ли доволен *взыскательный читатель*. Что ж, возможность ответа есть у каждого, кто пожелает дочитать эту принципиально не оконченную повесть до конца.

Да, напоследок: в детстве, отрочестве и юности я знал одну старуху, которая жила-жила да и умерла; знал и некоторые обстоятельства её жизни; ещё до первой попытки я уже знал, что тему надо будет «пропустить сквозь неё»; не знаю почему, но я счёл обязательным сохранить её точное имя-отчество-фамилию, а равно и часть жизненных обстоятельств, как и точные приметы времени её последних дней; остальное додумано или вообразено — «как вам больше понравится».

Юрий Малецкий

Памяти Г.А. Атливанниковой и каждого человека

...Живая жизнь давно уж позади.
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.

Ф. Тютчев

Старуха должна была умереть в простом порядке очередности: ей шел восемьдесят восьмой год; все ее знакомые сверстники умерли; теперь ее очередь.

Последним между нею и смертью стоял Марк. Марк Борисович Иткин, ее троюродный брат, стародавний, с детства, друг и некогда, в смутные времена 20-х, ее фиктивный муж и фиктивный отец ее дочери Зары. Вся его жизнь была сменой навязчивых целей, подчинявших его себе без остатка; уже несколько лет как этой целью стало – «умереть завтра». «Умереть? Да бога ради. После того, что я пережил и все время продолжаю переживать, пока живу, смерть – это чистый мед! Это бальзам на все мои раны! Да, да и еще раз да. Но не сегодня. Как раз сегодня я занят. Вот завтра – умру с превеликим удовольствием. Для того и живу еще, чтобы завтра – умереть с удовольствием». Очевидно, именно с этой целью Марк ежедневно ложился в 9, вставал в 5.30 и отмахивал не менее трех километров, следя по секундомеру, чтобы сделать в минуту не менее ста двадцати шагов. Ту же процедуру повторял он и перед сном; и что же? За свои усилия был он вознагражден, перенеся уже три инфаркта, а все оставаясь, если ему верить, «свежим, как рыночный творожок».

Такому торжеству оздоровительной физкультуры, помноженной на человеческую дисциплину, можно было только поаплодировать. Марк выигрывал «всухую»; увы, противник его был не из тех, у кого выигрывать можно до бесконечности. Последовал четвертый инфаркт – и смерть догнала скорохода. Игра была прервана самым бесцеремонным, да к тому ж и нечестным образом: продолжая вести в счете 3:1, Марк вынужден был унести свой выигрыш в могилу. Он умер.

Значит, перед ней – никого. Она крайняя; умирать теперь – ей.

Что ж, надо признать: вовремя. Восемьдесят семь это 87. Галя Абрамовна Атливанникова ослепла на один глаз – катаракта – и плохо видела вторым. Кончики пальцев ее словно ороговели, онемев от слишком медленного движения крови, почти не давая более осязательного опознания даже самых знакомых вещей. Еще в 34-м, после скарлатины, перенесенной во взрослом возрасте, она стала туговата на ухо, а в 57-м, похоронив единственную дочь, умершую во цвете лет нелепейшей смертью – от укуса клеща, – Галя Абрамовна от горя оглохла совсем.

Из пяти органов чувств в ее полном распоряжении оставались только два: обоняние и вкус; ноги еще как-то таскали ее, но давно уже не далее пределов ее квартиры. Она постоянно зябла и не снимала даже ночью зеленой шерстяной фуфайки, сохранившейся от времен средних классов гимназии; теперь та опять пришлось по росту; а если оставались силы, Галя Абрамовна наполняла еще грелку горячей водой и клала ее под одеяло в ноги.

Организм ее подобен был дому, где все коммуникации, когда-то устроенные на славу, с запасом прочности, попросту отслужили свое, продолжая как-то служить, расходуя запасной ресурс: батареи еще теплы, но горячими уже не станут, напор воды ослаб (но все же достаточно силен, чтобы рано или поздно пробить ржавые трубы), потолки протекают... Старуха постоянно чувствовала, как внутри ее что-то осыпается, словно кто-то там непрестанно отряхивался, и сознавала, что это не та экстренная, но частная авария, которую можно ликвидировать, а общее аварийное состояние, с которым ничего уже не поделаешь, – такие дома ставят на снос. Случается, о них забывают, а они неведомой силой стоят еще, живут еще, случается, живут годами своей невозможной жизнью – до тех пор, пока о них не вспомнят-таки, чтобы снести, парой ударов гири прекратив это безобразное чудо...

Но если б и можно было что-то починить в себе, Галя Абрамовна все равно не стала бы связываться. Давно уже чувствовала она: стоит пошевелиться, как сразу становится ощутимым, тяжелеет вокруг нее воздух и, словно бы загустевая, сдавливает слабеющее тело; как трудно это – сделать целое движение рукой или ногой. При всякой попытке движения она чувствовала себя как человек, бредущий

в воде по грудь, и это сопротивление давлению извне — только отнимало, понапрасну изнуряя, последние, такие необходимые силы.

Жизнь старухи была — остаток после вычитания почти всех физических способностей организма, работы почти всех органов чувств и, следовательно, утраты всех почти впечатлений бытия. Вернее сказать, жизнь ее и была — самое бытие, бытие не в-себе, а — как бы это сказать? а так, как скажется, — бытие не в-себе, а гуляющее само по себе, ничем почти, кроме себя самого, не заполненное, не вдающееся в собственные подробности за неимением их, почти уже бесформенно-чистое бытие. Существование ее из-жило, из-было себя — и, однако же, зачем-то задержалось здесь, на этом островке, окутанном туманами проваливающейся все время куда-то старческой памяти, на нейтральной полосе между жизнью и чем-то, где она не была ни разу, но знала, что все мы там будем. Будем, где нас не будет.

Но временами, временами — ее сознание выныривало из тумана, и вдруг выяснялось, что оно, ее *полное* сознание, и ум ее, рассудок — совсем не одно и то же, как она привыкла считать.

Рассудок ее явно ослаб, ум одряхлел, обработка простейшей информации, чтобы сделать простой же вывод (например: отключили горячую воду — значит, надо звонить в ЖЭК и выяснить, почему и когда включат, — но как ты это сделаешь, если глуха и даже не услышишь, подошли к телефону или нет? — а вот как: завтра придет Лиля, и если до завтра не включат, вот ее надо попросить все выяснить), давалась ей все с большим трудом, и главное, продолжать работу мысли на одном и том же уровне концентрации, так, чтобы одновременно и не забывать, о чем именно ты думаешь, и еще волоком продвигать свою мысль в дальнейшее рассмотрение того, о чем думаешь (целых два усилия в одном, будто левой рукой с трудом держишь вещь, а правой с трудом ее поворачиваешь в разные стороны), она могла крайне недолго, десяток-другой секунд — и все проваливалось в омывающую ее летейскую воду. Она могла помыслить и о самой этой летейской воде — с тем же результатом: Лета — река забвения (как все склеротики, она давно уже плохо помнила то, что было вчера, но хорошо — многое из того, чему учили незапамятно давно). Так. Река. Река — пресноводна. Это общеизвестно. Еще раз: Лета — река. В ней пресная вода. Тогда почему забвение так непроходимо плотно, не как пресная, а как густая от соли морская... что морская? морская... соль? Густая от соли морская соль? Вздор. Тогда — морская... болезнь? При чем тут болезнь? Какая болезнь? О чем я только что... что «только что»? что — что «только что»?..А-а, все, ушло — не вернуть... Ну и ладно. Было б чего жалеть...

Так работала ее мысль; тогда как *полное* сознание ее, напротив, стоило ему неожиданно, вдруг, пробиться сквозь склеротические туманы памяти и завалы маразмизирующего ума, появлялось всегда живым, напряженным, болезненно цепким. Возможно, это была особая, самая важная, но, главное, особая часть ее разума, которая и думала, и чувствовала одновременно, только думала не мыслями и чувствовала не эмоциями, а работала... уколами? зарубками? зацепами? Как ни назвать эти действия, производившее их сознание опознавалось старухой безошибочно как *то же самое*, все то же, неизменное с первого момента ее детского опознания себя как себя. Это оно, всегда одно и то же, и было той нитью, что сшивает воедино сотни чувств и мыслей, тысячи раз засыпающих, исчезая, ночью и появляющихся сами собой поутру, сшивает их так, что они, могущие ведь, и спроста, всякое новое утро быть чувствами и мыслями другого человека или вообще быть мыслями и чувствами *ничьими*, мыслями и чувствами самими по себе, как зайчик, просто вышедшими погулять, — сшивает эти тьмы и тьмы разрывов, исчезновений и возникновений воедино, обеспечивая каждому из нас возможность

(или обрекая каждого на неизбежность) – от рождения до могилы, всякое утро всецело осознавать себя, сколь бы ты ни изменялся по пути от рождения к могиле и как ни хотел бы, может быть, однажды проснуться другим-собой, совсем другим, с другой судьбой, счастливее во всех отношениях, – все тем же, всегда тем же, совсем не другим, опять и опять все тем же, маленьким, большим, старым, но всегда Самим Собой.

Вот эта-то особая часть ее разума и чувства, опознаваемая ею самой как «я» (то есть сама себя опознающая), да, именно, всегда называемая ею самым коротким, самым распространенным в мире, самым простым и самым непонятым словом «я», – настырно бодрствует, не дает спокойно доживать-доминировать свой век, прорываясь судорожно, мучительными толчками сквозь оцепенение, сквозь все не-могу и не-хочу полумертвого тела, неотвязно коля и цепляя, изводя Галю Абрамовну тем, что еще совсем недавно – три дня или три часа, или три года назад? – она не могла сказать, не помнила, но еще совсем недавно – совершенно не волновало ее, было вне поля ее сердечно- и умо-зрения. Да, еще совсем недавно она по-житейски нормально, частица за частицей, уходила из жизни, но в целом была где была с момента рождения: тут, в жизни; она уходила плавно, а значит, замечая, да не замечая... Да, она была одинока, глуха, почти слепа и трудно движима, а разве ж это жизнь, но это кому как, а ей дали время освоиться с этой жизнью-не-жизнью, свыкнуться со своей полужизнью, недожизнью со всеми удобствами, свить в ней гнездо привычки к *вот такой форме жизни*, а привычка – вторая натура, и где привычка – там уже и хоть малый, да комфорт... пожалуй, ей уже и не хотелось бы сейчас, предложи ей, снова стать такой полностью живой, как когда-то: она уже отвыкла от полноценного напряжения жизни и, пожалуй, испугалась бы его – все равно как сунуть палец в розетку.

Все было как обычно, как всегда в ее жизни – до **этого**. Жизнь всегда состояла из плохого и хорошего, то есть – из многочисленно-подробного; это не давало ни времени, ни желания биться над вопросами, на которые никто еще не дал мало-мальски удовлетворительного ответа. Имея на руках пожилую мать, дочь, взрослеющую не по дням, а по часам, и мужа, который до самого своего конца так и не смог, при всем искреннем своем желании, слиться с новым строем, встроиться в него настолько, чтобы сносно обеспечивать семью, Галя Абрамовна жила, с головой уйдя в земные заботы. Нет, правда, один Алексей Дмитриевич чего стоил с его бесконечными попытками вернуть былое благосостояние: с его разведением кроликов, которых раскормил он на славу, так, что они, вместо того, чтобы плодиться и размножаться с положенной им изумительной быстротой, обленились до такой степени, что перестали даже совокупляться, а все только спали да спали самым бесстыжим образом; со стадом коров, которое держал он в кооперативном хозяйстве за Волгой, стадом, в конце концов уменьшившимся до одной-единственной коровы, да и та вскорости околела; к чести его надо сказать, во все эти тяжкие пускался Алексей Дмитриевич, думая, что кто-кто, а он-то понимает в такого рода делах – и никак не мог взять он в толк, бывший безупречный управляющий образцовыми имениями графа Воронцова-Дашкова, что дела его нынешние не идут и не пойдут на лад уже никогда, и вовсе не потому, что допущена очередная ошибка в очередных расчетах, а потому, что новый строй требовал нового подхода... нового зрения...такого, проще сказать, поворота, а точнее, выворота ума, которого у Алексея Дмитриевича не то что не было, а который он именно как человек с хорошо поставленным умом старого образца и представить-то себе не мог, чтобы *такое* – да взять и пустить, как говорится, в пир и в мир и в добрые люди... Все же его знаний хватало на то, чтобы и при новой власти найти себе работу – счетовода; но уже то были далеко не те средства, к которым он

привык, а привычки его были не из тех, с которыми легко расстаться... словом, что с него, нежно любимого, взять? Одно слово – ребенок... Грудь не в крестах, так хоть голова не в кустах, что уже очень даже немало, по тогдашней шкале жизнеизмерения.

Говоря короче, Галя Абрамовна должна была в основном сама зарабатывать на семью из четырех человек; и она зарабатывала. Тогда еще как раз даже в приличных кругах привилось словечко «вкалывать», и, в отличие от большинства новых слов, оно ей пришлось по вкусу. В нем было что-то подходящее именно к ее профессии. Уж она вкалывала, будьте благонадежны; но она и получала. Сколько вырабатывала, столько и зарабатывала. Она зарабатывала хорошо и в 30-е, и в войну, когда на базаре сайка стоила 60 руб., а буханка черного – 399, а мясо стоило 60 руб. 100 граммов на щи; и позже. Она работала в поликлинике на Воскресенской (ныне Самарской) площади – человек предусмотрительный, она думала о государственной пенсии на старость лет – и приватно, на дому. У нее всегда была клиентура, и хотя она никогда не играла ни в какие игры с государством (за исключением одного раза, когда она была вынуждена сыграть, ставка была величиной в дальнейшую жизнь ее семьи – и выиграла, видимо, как новичок, но перепуга от этой игры хватило на десятки лет вперед), а значит, работала под вывеской на двери дома, а значит, декларировала частную деятельность, а значит, платила такие налоги, что мое вам почтение – от заработанного бублика оставалось чуть больше дырки, но при всем том даже в 43-м-44-м годах она могла себе позволить платить Лиле, как в хорошие времена, 10 руб. за стальную коронку (да, она вкалывала на совесть, но и Лиля у нее неплохо *заколачивала* – еще одно недурное словцо, – особенно для начинающего техника-протезиста, во всяком случае, в свои шестнадцать могла наравне с матерью – отец погиб «смертью храбрых» в мясорубке под родным Смоленском, так что мать успела еще получить треугольную похоронку перед их страшной, с бомбежками и вшами, восьмидневной эвакуацией последним эшелонем из Смоленска в Куйбышев, – кормить еще и малолетних брата и сестру).

Возможно (она всегда была самокритична), вполне возможно, Галя Абрамовна и не была дантистом экстра-класса, но у нее было качество едва ли не более важное, чем класс работы: доброжелательность. Ей как-то сразу, каким бы ни был пациент – а пациенты порой бывают капризны до не-могу, да еще и нетерпеливы к боли (а как без нее обтачивать зуб?), – удавалось настроиться на теплую волну доброжелательности, и, поставив коронку или мост, она совершенно искренне восклицала: «Прекрасно! Восхитительно! Совсем другой рот! Другой человек! Красавец!» И человек, только что сплевывавший *мукой*, смелотой старой бормашиной из его же собственного зуба, только что глухо стонавший, уходил домой с облегченно-радостным сознанием того, что все плохое позади, и вот оно, свершилось то, ради чего он, наконец, решился пострадать, прилично заплатив за свои же мучения: превращение его в человека, избавленного, наконец, от тягостной повинности постоянно следить на людях за своим ртом, чтобы тот не открывался более, чем это строго необходимо для принятия пищи, внятного произнесения фразы или кривоватой полуулыбки. Теперь он мог смеяться во весь рот, пусть обнажая стальные (чаще) или золотые (гораздо реже, с золотом частникам-надомникам иметь дело было опасно: откуда взял золото? скупаешь? у кого? – это грозило тюрьмой и конфискацией имущества, золото ставилось только людям с самой надежной рекомендацией и желательно «со своим металлом») фиксы, это не было красиво, но это уже было прилично, принято: пусть стальной, но мост – или дыра во рту! это отличалось, как раздеться догола в бане – или на улице.

Галя Абрамовна работала с утра до позднего вечера, время нарушилось, и не до того было, чтобы вспоминать, что трудиться в поте лица, то есть вкалывать – заповедано Адаму, мужчине, а не женщине, красивой, выросшей в весьма обеспеченной семье и окончившей классическую гимназию. Она залечила или удалила тьмы тьмущие зубы, замостила сотни ртов, осчастливив тем стольких же их владельцев, к моменту, когда необходимость вкалывать сократилась на четверть: в 54-м с Алексеем Дмитриевичем случился удар, слава богу, он умер сразу, без длительного паралича, она понимала, что так лучше и ему, и всем, но все равно долго не могла примириться с тем, что произошло. Пусть бы он жил, хоть лежал и все под себя, но жил, и пусть бы она вкалывала не меньше, а еще больше и ухаживала за ним, а он бы жил, ее родной, больной голубок, только бы жил. Галя Абрамовна любила мужа ровно и нежно (да, у нее была – кто без греха? – пара скоротечных увлечений на стороне, но и только – за тридцать лет совместной жизни) – она любила в нем все: отменные манеры, неизменную булавку в галстук, серые лучистые глаза, бархатный голос и шелковистые русые усы, откровенно старорежимные роскошные усы, доставлявшие своему хозяину кучу хлопот, которые он нес, лишь бы не расставаться с усладой своей жизни... а всего пуще она любила в нем удивительную, беззаветную любовь к ней и к Заре, которым до конца своих дней не уставал он приносить рано утром с рынка цветы и делать по поводу и без, всегда с полусмущенной, застенчиво-милой улыбкой, всякие подарочки и подарки, порой закладывая для этого, как выяснилось после его смерти, в ломбард свои безделушки, которых оставалось у него от старых времен немало, после всех и всяких обысков и изъятий, неведомо как – просто в прорешку какую-то закатилось да там и осталось, в укромном спокойном тепле. Да, Алексей Дмитриевич любил ее, и Зару любил как родную дочь; любил Зару и Марк, ее фиктивный отец, и тоже баловал, хоть и не так часто, зато, не в пример Алексею Дмитриевичу, был скуповат. У Зары было два отца, один по паспорту, другой по крови (его она не знала вовсе – даже фотографии Мирослава были еще тогда на всякий случай сожжены), но настоящим своим отцом она и считала, и любила как родного – отца, Алексея Дмитриевича. Да, все баловали ее, даже бабушка Софья Иосифовна, мать Гали Абрамовны, женщина феноменально скарредная, умевшая сказать за столом полужнакомому мужчине, да еще пришедшему свататься к её дочери: «Что это Вы, Алексей Дмитрич, второй кусок пирога берете? Вы уж один съели», – даже она держала в своем огромном ларе, на котором и спала, постелив на него перину, и ключ от которого носила на шнурке на шее, конфеты «раковые шейки», «гусиные лапки» и сливочные тянучки по 33 руб. кило для внученьки и, вытаскивая их по одной и тут же заперев за собой ларь, протягивала Зарочке с той свирепой любовной гримасой, что появляется у пса-волкодава, увидевшего своего хозяина.

Все баловали Зарочку и пророчили ей долгую жизнь и светлое будущее; а она взяла и умерла в 57-м, всего через три года после своего отчима-отца, – от укуса клеща! Она была во цвете лет и красоты, унаследованной от матери, и работала уже не где-нибудь – в Москве, чтецом-декламатором, с самим Михаилом Александровичем, знаменитым тенором, – и надо же, чтобы на гастролях на Дальнем Востоке, то ли на Камчатке, то ли на Сахалине, ее укусил какой-то там клещ! Глупо, невозможно... Но – энцефалит.

Нелепейшая смерть! Нелепейшая. Нелепейшая и невозможная. Тогда она и оглохла совсем, от горя. Но и после Зариной смерти, и после смерти мамы еще несколько лет спустя – она продолжала жить нормальной жизнью, насколько это доступно глухому и одинокому. Она еще принимала пациентов, нечасто: много ли нужно ей одной сверх пенсии? Плюс к тому она уже пустила квартирантов, и тоже не столько из-за денег, сколько для того, чтобы не быть одной в опустевшем большом частном доме. Она тщательно убирала свою территорию – по три-четыре

часа в день, побуждая и квартирантов к тому же – с переменным успехом; и общалась чаще всего с Марком и женой его Софьей Ильиничной, давно уже как бы простившей Гале и Марку их когдатошний брак. Собственно, там и прощать было нечего, но Софа так никогда и не поверила, что достопамятный сей марьяж был и оставался чистойшей фикцией до того самого момента, когда он был расторгнут, чтобы заключить уже действительный брак с Алексеем Дмитриевичем; да, странно, что Софа никак не могла в это поверить, тогда как между ними действительно ничего не было, решительно ни-че-го: даже поцелуя, да и быть не могло: беременность, тяжелые роды, Зарочкины детские болезни, да еще мастит, сильнейшие боли в закаменевшей груди... А к тому же видеть мужчину в Марке, с которым она была дружна чуть не с пеленок, с которым они в детстве чуть ли не рядышком на горшочках сидели... увлечься Марком... да еще *тогда?* Дичь! Не понять этого не могла даже Софа. Но что ж она тогда себе представляла? Что она, Галя, могла быть близка с Марком *п р о с т о т а к*, без страсти или хотя бы увлечения..? «По дружбе», что ли? Чушь собачья. Увольте. Не в ее привычках. Конечно, всеобщая эмансипация захватила и ее, она всегда стояла за равноправие в любви; но именно в *л ю б в и*. Попросту, скотски совокупляться... Есть же какие-то границы во всем, всюду есть свои «можно» и «нельзя», и среди них – невозможность сойтись с мужчиной совсем уж просто, без тени того, что в ее сознании, воспитанном на Ибсене и Гамсуне, носило имя «любовь». Трижды – дичь.(Но это же – Софа! Надо ее знать!) Не говоря уж о том, что все эти годы не переставала она любить Алексея Дмитриевича, своего, она чувствовала это, суженого – Мирослав просто вовремя (или как раз не вовремя), в ту пору, когда так необоримо хотелось спрятаться в любовь, закутаться в нее от окружающего страха и тревоги, попал на чужое место, волею злого рока был послан заменой Алексея Дмитриевича, закинутого, по несчастью, гражданской войной на юг России, затем в Крым, пока, наконец, перспектива остаться управляющим уже *бывших* имений Воронцова-Дашкова не выяснилась окончательно; у него была возможность сесть на корабль и отчалить, но он остался в России, главным образом из-за нее, Гали; он остался и даже каким-то чудом добыл бумажку, что он – простой бухгалтер какого-то там предприятия, простой служащий, а не графский прихвостень; но и потом еще целых три года своенравная фортуна мешала ему соединиться со своей возлюбленной – только в 23-м задним числом узнал он, что Галин отец, человек убежденно синагогальный, не желавший ни в какую видеть свою дочь замужем за гоем и потому бывший единственным препятствием к их браку, умер еще в 18-м. Но не могло же, в конце концов, у Алексея Дмитриевича быть сколько угодно заместителей! Характерно, что сам он, в отличие от Софы Ильиничны, всегда понимал все правильно, и насчет Марка, и насчет Мирослава: последнего он Гале простил и забыл раз навсегда, в случае же с Марком он, нимало не ревнуя, – еще чего, напротив, горячо одобрил фиктивный брак, саму его столь правильную и своевременную идею – и сказал под конец: «Ну, а теперь он свое отслужил, самое время его расторгнуть и заключить другой, настоящий». Что и было сделано...

Да, она жила по-человечески, общалась с людьми. Завела блокнотик, и карандаш «Смена» с ластиком на тупом конце, и точилку. Ей писали, она отвечала вслух. Впрочем, со временем она как-то, не стараясь специально, научилась понимать большинство слов по движению губ, прося лишь отчетливо выговаривать, отстукивать звук за звуком. Писать нужно было только малоупотребительные или очень длинные слова. Но она любила и когда писали: тогда стачивался карандаш и надо было подтачивать его, а ей по-детски нравилось крутить точилку, и слышать рукой мягкий хруст, и видеть тонкую гофрированную стружку, и обонять запах слегка

нагревшейся от работы крашеной древесины. Для чтения она пользовалась не совершенно уже бесполезными очками, а лупой, прекрасной старой лупой в медной оправе – память о детских годах Алексея Дмитриевича. Галя Абрамовна могла поддержать любой разговор: она выписывала «Правду», «Известия» и местную «Волжскую коммуно» и внимательно прочитывала большую часть газетных материалов; она была в курсе всех событий, будь то космический полет Гагарина, убийство Лумумбы или Карибский кризис. Она могла и поспорить, особенно по поводу разоблачения культа личности Сталина и разгрома антипартийной группировки, всей этой камарильи Молотова, Маленкова, Кагановича и проч... Она решительно поддерживала линию ЦК вплоть до выноса тела из мавзолея: ясно как дважды два, что незаконная расправа со многими и многими честными сынами партии и народа, о чем потрясенно узнавали сейчас и сама эта партия, и сам этот народ, была злостным извращением ленинской линии партийного и государственного строительства.

Сказать правду, чтобы народ – да хоть бы она сама – и раньше совсем уж ничего не знал... Как не знать, когда у твоего же супруга всегда наготове портфельчик со всем необходимым? Как не знать, когда слухами земля полнится? Когда соседка их, отца Ксенофонтия Архангельского, милейшего, пожилого уже человека, взяли в 38-м считай что у нее на глазах. Попадья рассказывала: привечал, а то и прятал каких-то не как надо верующих – или как надо верующих, но слишком откровенно. Фанатиков. Разумеется, взяли и не выпустили, и больше никто о нем никогда ничего: контрреволюционное подполье; какой это подпункт статьи 58-й, тогдашний ребенок отчеканил бы – ночью разбуди. Но и попадья зажилась после этого у себя дома еще недельки полторы, не больше, – и о ней тоже с тех пор никто никогда ничего.

Как не знать? И все же она с почти чистой совестью могла сказать: она знала – не зная. Она как бы знала одно, а на самом деле знала совсем другое. Одно касалось ее мужа, соседей, знакомых, другое – строительства нового мира. В каком-то смысле судьба ее мужа была для нее куда важнее некоего «исторического процесса», а в каком-то, особенно если этот исторический процесс обошел-таки стороной твою семью и вы не влипли в историю, общее было несравненно важнее частного. И ведь правда же, неприятно, но факт: Алексей Дмитриевич, вернись, пусть на минутку, в Россию старый строй, еще неизвестно – то есть именно известно – за кого был бы. А попы, самые приятные из них – это что-то до того отставшее от жизни, не от мира сего, такой пережиток истории, что сам собой просится в мир иной... Были две правды – малая и большая, и они были разведены между собой на астрономическое расстояние. Но теперь, когда и ей, и всему народу даже не то что разрешили или разъяснили, а просто подталкивали соединить «как бы» (оборот-паразит, но по-другому и не скажешь) и «на самом деле», вставить малую правду в большую, – теперь все выстраивалось в единый порядок вещей. В глазах перестало двоиться, и Галю Абрамовну, как и каждого честного, мыслящего человека это возвращение к ленинской норме партийного и государственного строительства радовало. Но из всякого правила есть исключение, и таким исключением был Марк с его вечной вожжей под хвостом. Его не радовало происходящее. Его очень давно уже ничто происходящее не радовало; но он молчал; но она знала. А тут он, наконец, заговорил. «Зачем столько шума? К чему вся эта возня? Я спрашиваю – к чему эта возня? Наломали дров, но все уже успокоилось хоть на чем-то – так пусть лихо лежит себе тихо. – Что ты имеешь в виду? – А ты не понимаешь, да? Она не понимает. Провели границу, установили исторический столб, на 37-м, но ведь сами же подают пример – раскапывать. Так теперь любой энтузиаст – а у нас страна энтузиастов – возьмет и начнет по их же примеру

копать еще дальше назад. Или вперед, какая разница, мы что, не жили все это время взад-вперед с тобой в стране?.. в общем, пиши пропало. — Не понимаю — ты против восстановления исторической справедливости? — Что? Справедливость? Геля (он предпочитал ее настоящее имя русскому «Галя», закрепившемуся за ней с начальных классов на всю жизнь в качестве полной формы, что придавало этому произведению детски-стихийного, допролетарского интернационализма неожиданную цыганскую удаль, надо сказать, так шедшую к ней в юности и молодости, что это откликнулось даже в том, что и дочь свою она назвала как-то по-цыгански), Геля, перед кем ты лепишь из себя дуру?.. Или ты на самом деле? Тогда скажи — где и когда ты в последний раз видела в России справедливость? — Да сейчас. В центральных газетах. — Хе-хе, хе-хе-хе. Срезала. Пять с плюсом. Начетчица! — А ты — ограниченный человек. Мещанин! Ты никогда не слышал музыки революции. Никогда не любил и не понимал Блока. — И не вижу в этом ничего меня порочащего. От него не убудет, от меня тоже. Блок не полтинник, чтобы всем нравиться. А вот музыки этой самой я наслушался не меньше его, а поболее, он почти сразу сыграл в ящик под эту музыку, а мы с тобой еще пожили и послушали, и, строго между нами, не приведи Господь никому снова услышать эту кровавую какофонию. — Как ты можешь? Ты же образованный человек. Ты знаешь историю Европы. Там революции послужили колоссальным стимулом к... — Стиимумом. Говорю же — начетчица. Во-первых, кто тебе сказал, что, например, в Австрии, где в восемнадцатом веке не было революций, хуже жилось, чем в тогдашней революционной Франции? Во-вторых, и во Франции всякое там либертэ-эгалитэ пошло гулять с простой вещи: одно сословие не захотело больше платить налоги за себя и еще за два сословия, почему-то от налогов освобожденных. И вот это действительно справедливо и, может быть, и стоит многой кровушки... хотя это еще бабушка надвое сказала. В Англии же всего через несколько лет после революции произошла реставрация, и все стало как было, с одной только разницей: воцарился принцип «король царствует, но не управляет». Не лезет не в свое дело, не мешает этому самому, чтоб его намочило, окаянному развитию, которое что при нем, что без него идет себе как идет, так, что каждый кладет прибыль в свой карман. А в Голландии — слышишь? — в Голландии третий переплет: маленькие Нидерланды, конечно, отстаивали свой кальвинизм, но в первую очередь не захотели больше кормить огромную Испанию, которой мало было есть за чужой счет, но ей подавай за чужой счет еще содержание армии — ты подумай, Испания захотела ввести в Нидерландах — кастильские законы. Устроить на севере Европы — юг! Тогда Голландия, просто чтобы не отдать концы, давай воевать, а как победили, то и разбогатели по-настоящему, исключительно для себя пуская в оборот свои денежки. Заметь — страна, в которой победила революция, сразу — с р а з у! — после *революционной* победы колонизирует Индонезию и Филиппины, то есть миллиона полтора-два человек становятся полными хозяевами двухсот миллионов душ населения. Как тебе нравятся такие революцион-нэры?! Словом, переплеты разные, а история одна: все крутится вокруг права самому распоряжаться своими деньгами, собственностью, и как к этому ни отнестись, в этом есть здравый смысл, и потому эти революции и послужили, как ты говоришь, стимулом — А у нас — что? За что боролись, а? Чтобы собственность у каждого — отобрать и чтобы каждый еще этому радовался и кричал: «Да здравствуют!». То есть *они* чтобы здравствовали, а те, кто *их* славят, пусть хоть передохнут, как мухи, но продолжают *их* славить. Как тебе это тройное сальто-мортале? Но ведь — удалось! Так сидите и радуйтесь! Наворочали умных дел, так хоть молчите. Все на новый лад, но как-то устаканилось, как не бывает у живых людей, но — получилось, на честном слове и на одном крыле, получилось возможное разве в Древнем Египте: порядок без собственности, когда — то есть никто, кроме верхних ста человек, в порядке не заинтересован, мыслимое ли дело? Но получилось! — Так и пусть себе его лежит

в мавзолее, кому он там мешает, он же там хлеба не просит, место есть, ну так и пусть, а то начали с него, а там и до второго доберутся, а вот уж тогда такая затрубит музыка, что и твой Блок бы уши позатыкал. – Да мы только что первыми вышли в космос, это значит, что мы находимся на высочайшем в мире витке развития, и ты это знаешь лучше меня, а говоришь, что мы хуже каких-то голландцев! Да я и слушать не хочу твою галиматью! – Космос, говоришь... А на кой черт нам этот космос, когда мы живем на земле, а в той части земли, где живем мы с тобой, Геля, мясо продается только на рынке, а в магазине «Мясо» – мяса-то нет. Ты-то его можешь себе позволить покупать и по рыночной цене, но как раз потому, что ты частница, а частника революция всегда, да и то не всегда, только терпела, по идее, при социализме-коммунизме вообще никаких таких частников, тебя, в частности, и быть-то не должно. Вас – абсолютное меньшинство, вы – отмираете, а революцию, кажется, делали в интересах большинства – по крайней мере, так они говорят? Ты старорежимный пережиток, Геля, вот ты кто, дорогая моя – и ты же меня не хочешь слушать! Нонсенс... А насчет «хуже», «лучше» – кто это знает...но мы таки другие, и я тебе так скажу, строго антр ну: русский человек талантлив, но без царя в голове, поэтому ему нужен царь на троне. Как ее ни назвать, нужна сильная рука. Так было при старом режиме, и он жил, пока его рука была сильна, и так еще вчера, плохо или хорошо, но надежно было при новом режиме. Но сегодня власть сама себя сечет, как унтер-офицерская вдова, и этим рубит сук, на котором сидит, и ты увидишь – добром это не кончится. Вот тогда я тебя и спрошу: к чему привела твоя справедливость?» – и Марк, запустивший было, забывшись как обычно, по безобразной привычке указательный палец в нос (ее всегда подмывало в этот момент дать ковыряле по руке, как она и поступала в детстве), вынимал его и поднимал торжествующе вверх.

Галя Абрамовна ценила политическое чутье Марка с той давней поры, когда он предложил ей, просто по давней, с детства, дружбе, подкрепленной каким-никаким родством, желая ей добра, сочетаться с ним новозаконным браком – расписаться, как стали говорить о ту пору, – чтобы дать свою фамилию ребенку. И если бы она его тогда не послушалась и не сыграла в эту единственную в ее жизни игру с государством, и Зара в метрике писалась бы не «Зара Марковна Иткина», то непременно всплыло бы имя ее действительного отца – и не тогда, так лет через пятнадцать, когда пошли по новому кругу, и уже очень тщательно, все эти проверки и перепроверки, выяснилось бы, и очень скоро, что за всем своим якобы искренним просоветским настроем скрывается бывшая любовница белочеха, больше того – имеет ублюдка от матерого вражины и, стало быть, наверняка поддерживает связь с заграничным разведцентром... Ох, как крупно тогда не поздоровилось бы им всем, и ей, и Зарочке, да и Алексею Дмитриевичу с его липовой справкой, тут только обрати на себя внимание, только вызови желание копнуть поглубже – еще достаточно оставалось в городе людей, помнивших его действительный «род занятий до октября 1917 года». (Все же почему на него никто так в те времена и не капнул? Есть, выходит, люди, которые совсем ни у кого не вызывают желания испортить им жизнь, редко, но встречаются; да, она счастливица, у нее был удивительный муж, золото 96-й пробы.)

И все-таки сейчас согласиться с Марком она не могла. Если революция привела только к тому, что одного царя сменили на другого, а демократия в России чревата только развалом, – тогда чего ради вообще произошло то, что произошло? Чего ради ломали все подряд? Ради чего жили и умирали? И убивали! Да, вот именно главное – чего ради столько людей поубивало друг друга? Чтобы ликвидировать неграмотность? Да лучше б жили тогда, неграмотные, но живые...

Нет, все не так, Марк вечно все сводил к собственности, и кроме того, ему хоть умри – но дай поязвить. И сейчас он просто играл на том, что тогда и ей самой – все происходящее казалось ужасным. Не таким, каким должно было быть

по всем светлым ожиданиям чего-то великого и прекрасного, по всем тем книжкам, что читали они под партией... Хотя что значит – казалось? Тут он прав – оно не только казалось, это время *было* ужасным!

Ей не забыть небывалый 18-й; не забыть, как вошедшие в Самару белочехи вели под конвоем из четырех солдат Франциска Венцека – председателя ревтрибунала, вели его по Фабричной (теперь, конечно же, улица Венцека). Туда сбежалась, кажется, вся Самара, и она тоже была там. «Зверь! – раздалось в толпе. – Бей зверя!» Какая-то дама кинулась и ударила зонтиком по голове едва волочащего ноги, словно в дремоте *муки* бредущего под конвоем человека, который еще недавно выносил неумолимые приговоры чьим-то мужьям или отцам из находящихся здесь, и сейчас ему не приходилось ждать пощады, да он и не ждал ее, и вообще, вероятно, был не способен чего-то ждать. Его голова качалась, как одуванчик, на тонком стебельке шеи, он поднял ее с трудом и поглядел перед собой, случайно, прямо в ее глаза, и Галя увидела на миг его глаза... цвета сырой печени, наполненной свежей кровью. Взгляд его был непереносим, остро передавая непереносимость того, что чувствовал сам человек с такими глазами; казалось сейчас из них не слезы хлынут, а кровь. Ее распирал крик, чтобы его оставили в покое: что бы ни сотворил этот человек, любой человек, ни одного из людей, даже нечеловеческих, нельзя доводить до того, что стояло сейчас в этих глазах, полных сейчас своей, не чужой кровью... это нельзя, нельзя!.. Но крик почему-то замер в ее горле, а еще через долю секунды вся огромная толпа приличных в большинстве своем людей сорвалась с места, отшвырнув в сторону равнодушных чехов с их винтовками и штыками, куда менее страшными, почти детскими по сравнению с этими грозными зонтами, руками, ногами; она еще успела увидеть разорванное плечо пиджака Венцека, откуда торчала грязно-серая вата, а потом – только ходили ходуном десятки кулаков, ног, зонтов. А сверху шел грибной дождь, прибывая поднявшуюся летнюю пыль, и пахло озоном...

Белочехи и «народная армия» Комуча¹ били красных, красные – белых, где-то неподалеку от Самары, в приволжской степи, в Бузулуке, Белебее, то приближаясь к Самаре, то удаляясь, чтобы вернуться, возникла какая-то дикая дивизия, предводительствуемая, как говорили, каким-то ужасным «Чапаем» (почти двадцать лет спустя она увидела фильм «Чапаев», и с тех пор в сознании их стало двое: один страшно-страшный, по всем слухам и ожиданиям, «лихой человек», и второй, настоящий русский герой, душевный-хороший-прехороший; оба носили одно имя, но кроме наименования их ничто в ее сознании не соединяло), а в октябре уже не дивизия, а целая армия Чапаева вместе с армией Гая вошла-таки в город – триумфально. Ей надо было бы вообще-то встречать триумфаторов, обоих командармов, цветами, победившая сторона была, согласно ее убеждениям, ее, априори выбранной ею революционной стороной; но почему-то желания *их* увидеть, вопреки убеждениям, не было никакого, а вот страх – был... Где-то в отдалении, как детская трещотка, трещал пулемет – тогда она еще хорошо слышала! И так

¹ Комуч (Комитет Учредительного собрания) – остатки разогнанного большевиками зимой 1918-го года всенародно избранного Учредительного собрания, летом того же 18-го года в Самаре объявившие себя верховной властью России. Просуществовал с 8-го июня по 7-е октября 1918-го года; опирался в первую очередь на военную силу Белочешского военного корпуса, сформированного из пленных чехов и словаков ещё царским правительством и отправленным на фронт на стороне Антанты (что оказалось возможным благодаря их сильным сепаратистским настроениям в составе Австро-Венгрии), но в ситуации тройной смены власти в России «забытого» по дороге на фронт большевиками и растянувшегося при этом на территории России от Поволжья до Иркутска; помимо белочехов, имел собственную армию в 30 тыс. штыков, набранную, в отличие от большевистской или колчаковской мобилизации, исключительно убеждением.

продолжалось целых четыре нескончаемых месяца, 4 месяца, с начала июня по начало октября. Вздувшиеся трупы плыли и плыли по воде, как бревна, пока Самарка не замерзла, – за город боролись, кажется, в основном позади его, не с Волги, где крутой берег и отсутствие мостов мешали и той и другой противоборствующим сторонам, – впрочем, может, были и третья, и четвертая стороны... Она, как и все вокруг, устала вдумываться в происходящее, непосильное для души даже не столько кровавостью своей, сколько невиданной и неслыханной прежде в этом всегда спокойном городе – даже известное на всю Россию самарское хулиганье было каким-то лениво-спокойным, по-своему упорядоченным – буйной неразберихой.

А потом окончательно водворились новые венцеки, в дикарской черной коже, и прилично одетому человеку лучше стало не высовывать носа на улицу; но и дома стены больше не помогали, людей уводили из их домов; и некоторые, случалось, возвращались.

Да, оно было ужасным, то время – и оправдать и его, и то, что было после, лет через пятнадцать-двадцать, могло только одно: историческая необходимость. Но ведь она же явила себя, эта необходимость, мы построили первое в истории, могучее социалистическое государство, ликвидировали неравенство, безработицу и безграмотность, истребили оспу, чуму и холеру, дали всем бесплатную медицину и образование, выиграла великую войну и отстроили страну заново... Наконец, что бы ни говорил Марк, мы таки первыми вышли в космос! Как можно перед лицом этой очевидности не то что согласиться с Марком, но – не назвать все это вздором – или хуже – передергиванием и подтасовкой фактов?..

Так они спорили часами; а Софья Ильинична слушала и глядела нехорошо, ревниво, но, будучи женщиной воспитанной, да и сама понимая, что в ее шестьдесят три ревновать смешно, вмешивалась в разговор только чтобы поддержать беседу на доступном ей уровне, сказав: «Все так, но, между нами, метрополитен имени Кагановича – это звучало». Или: «Ты заметила, что крабы исчезли? Как хочешь, а раньше такого безобразия быть не могло». А прощаясь с Галей Абрамовной, нежно поправляла у той на груди бисерную «летучую мышь».

Было, было ей чем занять свое существование; тем более, что тогда у нее уже квартировали Понаровские, лет что-то пять или шесть, пока Семену не дали квартиру от 4ГПЗ, в ДК которого он работал хормейстером. Одна борьба с безалаберностью этой молодой четы чего стоила; и когда Лиля приходила с работы, в ее комнате ее ждали чулки или туфли, торжественно водруженные в центр обеденного стола, или еще какой-нибудь сюрпризец в этом роде.

А еще ведь надо было поддерживать порядок на могиле мужа, а потом и на Зариной могилке, потом и на могиле матери; Зарочке она поставила небольшой гранитный памятник с выбитой на камне надписью, сочиненной ею самой: «Доченька, память о тебе в наших сердцах вечна, как вечна жизнь, безмерно любимая тобой»; а через полгода угол памятника отбили, выкололи глазки на Зариной фотокарточке и нарисовали на памятнике виселицу и на ней шестиконечную звезду. Галя Абрамовна расстроилась, но сочла эту безобразную выходку обыкновенным хулиганством. Она всегда думала и продолжала думать теперь, что с еврейским вопросом в стране на государственном уровне покончено, этого печального наследия царизма больше не существует, бытовой же антисемитизм, может быть, и в самом деле столь же непреходящ, как, например, русское пьянство, но живем же вместе, и трезвые, и пьяные, и ничего, и потом это как к людям отнестись – она, например, никогда не ожидала ни от кого антисемитских выходок – и никто никогда, по крайней мере, в лицо ей не говорил глупых гадостей, даже в злующих очередях военного времени. Но, конечно, есть тип еврея-активиста, правильно она говорит? еще бы нет – всегда и во всех лихорадочно ищущего антисемитов,

а кто ищет – тот всегда найдет. Ей было больно, но она спокойно занялась реставрацией памятника, благо имела вторую такую же, любимую фотографию доченьки, и посадила еще незабудки, и ноготки, и две аккуратные синие елочки, чтобы росли и охраняли памятник с двух сторон.

Словом, у нее хватало дел, подобающих человеку в осенне-зимнюю, пенсионную пору жизни. Безусловно, внутренняя картина мира, ориентация в нем сильно отличала Галю Абрамовну от слышащего большинства, восприятие ее, лишенное, подобно немому кино, идущему без аккомпанемента, того ритмического стержня, который не только обеспечивает постоянное напряжение сюжета жизни, но и делает его именно сюжетом, то есть чем-то, протекающим во времени, следующим от чего-то к чему-то, – восприятие ее превращалось, таким образом, в ряд вспышек и гаснущих кадров, так что она перестала ощущать непрерывность и последовательность временного потока, соединяя все впечатления от жизни вне-временной, не последовательной связью – то, что было вчера, могло казаться ей более поздним, чем то, что произошло сегодня утром; иногда же все и вообще запутывалось, так как вдруг включившаяся слуховая память могла наложить зримое настоящее на фонограмму прошлого, простейшим примером чего мог служить цокающий копытами трамвай, или солнце, светившее на безоблачном небе под сильный шум ливня и раскаты грома, или дети, беззаботно играющие в песочнице под треск пулемета. А могло быть и так, что вдруг посреди людей на автобусной остановке начинал совершенно вслух звучать ее же собственный голос, каким он был в юности; и странно, что никто в автобусной очереди не оборачивался на этот девичий голос, читающий на выпускном вечере отрывок из «Виктории» Гамсуна. «Зажгли лампу, и мнѣ стало гораздо свѣтлѣе, – почти пел этот голос. – Я лежала в глубокомъ забытѣи и снова была далѣко отъ земли. Слава Богу, теперь мнѣ было не такъ страшно, какъ прежде, я даже слышала тихую музыку, и прежде всего не было темно. Я такъ благодарна. Но теперь я больше уже не въ силахъ писать. Прощайте, мой возлюбленный...»² Этот голос, и эти слова, и все утраченные ныне в русской орфографии, но все же чуть слышные при чтении глазами, нежные, как выдох, «ять» и «ер» в них...

Возможно, даже наверное, сознание глухой старухи могло называться не совсем нормальным – в силу особой сосредоточенности, болезненной цепкости, – как сказано уже, не обдумывания, на которые она не была сейчас способна в полной мере, а вот этих зацепов-зарубок, заклиниваний и уколов, – навязчивой боязни уйти в сторону, сбиться, не прочувствовать зацеп-вопрос и клин-ответ до конца, до полной отчетливости, не мыслимой, но осязательно-укольно или режуще говорившей ей, если перевести на язык мысли: «Так, это ясно» – или: «Нет, все равно не могу понять». Работа этого ее внемысленного сознания в высшей степени носила характер охоты, охоты кошки за появившейся и тут же ускользающей мышью (что, впрочем, естественно для человека, лишенного большинства внешних раздражителей, переключающих и рассеивающих обычное сознание); и, однако же, поведение Гали Абрамовны, равно как и самый склад ее представлений о мире, были такими же, как у большинства людей, и даже предоставленная в последнее, уже намотавшее немало лет время, почти целиком своему одиночеству, она жила делами текущими, ухитряясь находить или изобретать их, эти ежедневные дела. И дни ее шли, и жизнь, плавно убывая, все не кончалась; а значит, она жила; а стало быть, делала все, что положено живому: ела, пила, спала. Спала плохо, зато ела хорошо. Выходит, в целом жила неплохо. И ненормально-цепкая работа ее колюще-цепляющего сознания посвящалась вещам самым обычным. Нормальным. Других не было. Пока не произошло **это**.

² Перевод Ю. Балтрушайтиса

Случилось **это** после очередного разговора с Лилей. Та, давно уже переехав (как и Галя Абрамовна, переехала из снесенного дома в данную ей взамен однокомнатную квартирку), приходила почти всегда два-три раза в неделю по вечерам, чтобы принести ей поесть; ведь сама она уже лет пять как не в состоянии была выйти отовариться, да еще в несколько магазинов сразу, да еще и на рынок. О приходе Лили сигнализировало включение сильной, в 150 свечей лампочки, служившей ей вместо звонка. Лиля принесла две булки, которые теперь назывались городскими, но которые старуха по старой памяти продолжала именовать французскими, половинку черного орловского, превкусные свои голубцы с прижаристой корочкой, наваристый куриный бульон и еще всякую всячину. Старуха привычно сказала: «Зачем так много, Лилечка? И все такое вкусное – ум отъешь. Разве можно так баловать? Чего доброго, и умирать расхочется». Она очень любила Лилину стряпню и даже сейчас, когда следила за Лилей, опасаясь, что та хочет ее отравить, не могла удержаться, чтобы не съесть в конце концов все подчистую. Затем она в который уж раз, почти ритуально, принялась жаловаться: жизнь опостылела, а смерти все нет и нет. А зачем ей жить, глухой одинокой полуслепой почти девятистолетней развалине, которой требуется полчаса, чтобы доковылять до туалета, да и там сил нет потужиться как следует, при ее запорах? Пора, давно пора на вечный покой, отдохнуть как следует. Стряхнуть, наконец, весь этот грязный песок, который из нее сыплется. И кому это нужно, чтобы она жила? Никому. Никому она не нужна. «Галя Абрамовна, что вы говорите!» – возмутилась Лиля, конечно, только для виду, и все равно это было приятно: теперь можно было повторить; и она повторила гулким, каркающим голосом глухого: «Ни-ко-му, Лилечка. Совершенно никому, и уверяю, себе тоже», – прислушиваясь к острому, едкому наслаждению собственным сиротством, вошедшему в нее от своих слов. Ведь у нее так мало осталось удовольствий! Одно только чувство сиротства, будучи высказано, поведано, могло еще привнести какую-то остроту жизни в ее цепенеющую душу, как-то увлажнить ее иссохшее вещество.

Они немного посмотрели телевизор. Галя Абрамовна до недавнего времени любила телевизор, особенно программу «Время»: ей нравилось, что она могла увидеть выступления руководителей страны, а узнать содержание их выступлений и сообщений, зачитываемых ведущими, отдельно, по газетам; это позволяло ей пережить одно событие дважды. Немота телевидения не слишком мешала ей. Собственно, первые телевизоры появились в городе как раз когда она оглохла; таким образом, она раз навсегда восприняла телевизор как систему изображения, отделенную от звука. Но не мешало же ей это в юности смотреть немое кино. Да и вообще она относилась к своей глухоте спокойно, не испытывая обычной у глухих антипатии, а то и злобы по отношению к слышащим, – может быть, потому, что и сама шестьдесят лет находилась в числе слышащих и вполне понимала их психологию. А может, все объяснялось еще проще – все той же ее доброжелательностью, открытостью и отсутствием предубежденности к кому бы то ни было...

(Кстати, это ее счастливое свойство выручало ее постоянно, в особенности в 19-м, когда ее хотя и охлажденные переживаемым – в 18-м-19-м все были равны по яростному спокойствию, если не злорадному сладострастию, с которым проливали чужую кровь, и если красные и отличались в этом от белых, то разве в еще худшую сторону, – но изначально искренние симпатии к большевикам – исключая или почти исключая чекистов: если уж проливать чужую кровь, то кровь вооруженных людей и в бою, – тогда они еще совсем не были так уверены в себе и своей власти и для них еще было небезразлично, кто как к ним относится на самом деле, – то есть симпатия к марксизму, а вследствие того и к его отечественным представителям, как бы они ни свирепели – еще и еще раз: тогда свирепели все, и лучше уж было держаться тех, кого ты уже выбрал ранее, – сложная история,

но эта ее открытость и симпатия принесли ей охранную грамоту на ее дом, выданную «пожизненно». И это несмотря на то, что все то время, пока в городе стояли белочехи, у них квартировал поручик Мирослав Штедлы, адъютант самого полковника Чечека, командующего Поволжской группой Чехословацкого корпуса! Конечно, узнай они потом, когда она родила, что Мирослав – отец Зары, их доброе отношение тут же бы и кончилось; но у Марка вовремя появилась мысль, и удалось эту мысль сделать былью, хотя она была как раз полной небылицей, и теперь – во-первых, она всегда могла сказать чистую правду, что вооруженные люди не спрашивали слабую женщину, возьмет она такого квартиранта или нет в зависимости от ее убеждений – вселили и радуйся, что саму не выселили; во-вторых же – те красные, что, выбив белых, пришли в октябре 18-го на место выбитых белыми красных в июне 18-го, в пальбе и суматохе не очень вдавались в то, кто у кого до их прихода квартировал, и после того, как она сама, безо всякого давления, пришла, молодая и красивая, к *ним* и искренне предложила свой не самый малый, хоть и одноэтажный, дом в качестве помещения для раненых красноармейцев, революционную репутацию «товарищ Атливанниковой» никто больше не ставил под сомнение... Нет, но все-таки, если бы они узнали, что Зара... Спасибо, спасибо Марку, спасибо его вечной вожже под хвостом, из-за которой так тяжело порой было с ним, ехидной, разговаривать, но которая всегда подхлестывала его к тому, что, если уж у него завелась идея, он не успокаивался, пока ее не осуществлял... И надо сказать, охранная грамота верно хранила ее дом все те почти три года, с 21-го по 23-й, пока она жила у матери в Стерлитамаке, подальше от страшного голода в Поволжье, когда по губернским деревням ели конские лепешки, и голод подступал уже к самой Самаре, да и от великого множества голодных окрест, сжимавших вокруг города все более тесное кольцо, становилось все более не по себе).

Из нынешних руководителей – все они были для нее немые, и оценивать даже самого главного и куда чаще других показываемого по телевидению приходилось только по внешнему виду, – ей и нравился более всех самый главный, Брежнев, лет восемь-десять назад просто импозантный, как она и говорила Лиле, но и сейчас еще очень приличный, она бы сказала – видный мужчина, степенный, как и подобает представителю великой державы, в годах, однако же совсем еще не старый – что такое 70 лет? Во всех отношениях достойный возраст, когда человек уже умудрен жизнью, но еще полон разума и сил; особенно ей нравилось, когда его поздравляли пионеры и Леонид Ильич всегда немного плакал, растроганный: это обличало в нем человека с сердцем.

Однако последнее время ей что-то разонравилось смотреть – не только телевизор, но вообще смотреть. «Что такое, Лилечка? Не понимаю, куда исчезли все краски? Раньше все кругом было цветное, а теперь черно-белое. Как по телевидению. Что это, как думаете? Неужели мир выцветает? Хотя вообще-то, может быть, ему и пора – он уже такой старый, еще старше меня. Столько лет каждое лето выгорать на солнце...» Она с трудом прочитывала теперь даже при помощи лупы одну газету вместо трех и с грустью глядела на книжный шкаф, где, как она знала, должны были стоять дореволюционные томики Пшибышевского и Гамсуна издательства А.Ф. Маркса, три тома Чехова, «Моя жизнь в искусстве», оставшаяся от Зары, «Анна Каренина», «Женщина в белом», «Консуэло»... Теперь она уже не могла больше читать их более нескольких минут без сильнейшего зрительного напряжения, на которое не было сил. «И это у меня отнято, Лилечка... Пора, пора на покой. Зажилась – и как-то не заметила, что пережила саму себя», – и Лиля снова возмущалась, а Галя Абрамовна снова с удовольствием видела ее насквозь. Потом Лиля привычно рассказывала о своих семейных делах; это была многосерийная семейная хроника, очередное продолжение которой всегда занимало

старуху, привыкшую к одним и тем же, по-домашнему ей знакомым героям и к тому, что всегда следовало продолжение и никогда – окончание. Она сколь могла живо реагировала на очередное награждение Семена грамотой областного Управления культуры или вылет Вити, двадцатидвухлетнего сына Понаровских, с очередной работы. «Но чем же он занимается? Компания, девочки? Выпивает?! Мы как-то ухитрились в его годы обойтись без водки. Чай, варенье, баранки, шарады, буриме... Но водка... в будний день... чтобы девушки позволяли себе?.. Не понимаю! А чем он все-таки хочет заняться? Двадцать два – взрослый возраст; тем более, человек уже отслужил в армии». То, по словам Лили, это была макаронная фабрика, то сапожная мастерская, то – работа официантом в летнем кафе «Отдых». «Но это же несерьезно. Чего он хочет на самом деле? Чем занимается для души? Какие книги читает? Что вы написали – “фар...цу...ет”... Что это? А, “спекулирует”, понятно... То есть как раз – непонятно! Витя – спекулянт? Мальчик, которого я учила повязывать кашне и правильно очищать яичко в мешочек и кушать его из подставочки, вырос спекулянтом?! Как можно? Приличная семья! Куда вы смотрите?!» Она принимала все близко к сердцу, но стоило Лиле уйти, как Галя Абрамовна забывала все, до следующей серии, когда перед ее внутренним взором мгновенно всплывало краткое содержание предыдущей. Она успела уже, вовсе не интересуясь специально, узнать тьму-тьмушью сведений о не известных ей вещах из какого-то мира, которого не было прежде: стоимость каких-то «джинсов», да еще различных марок и стран изготовления, и американских сигарет на черном рынке, и каких-то трусиков «неделька», и бог знает чего еще; да, все это было ей совершенно не нужно, но она продолжала расспрашивать и неизвестно зачем узнавала еще какие-то совершенно не нужные ей сведения о потустороннем для нее мире; и вот они-то, в отличие от многого дорогого и важного ей, они-то как раз почему-то не забывались, а какой-то нескончаемой телеграфной лентой шли в мозг: «левиштраус» американского производства стоят 170, а мальтийского производства – 150, как и итальянские «суперрайфл», а английские «ли» – 150-170... На какого лешего они тебе, когда ты и не знаешь, кто они такие, эти ли, и вообще, почему эти ли английские, а не китайские? Да, куда исчез Ваш китайчонок Ли, хотелось бы знать... но эти бессмысленные перечисления неизвестно чего – сами собой всплывали ab und zu³ (да, она еще помнила кое-что из гимназического немецкого, да) и шли в ее мозг, шли, даже приятные чем-то, как будто читаешь перечисление того, что Робинзону Крузо удалось вытащить на берег из затонувшего корабля или рука капитана Немо выбросила на таинственный остров (в детстве в ней было что-то мальчишеское, она играла преимущественно с мальчиками и любила читать «мальчишковые» книжки); шли, мешая думать о действительно осмысленных вещах, да случалось, еще и дразнили ее – когда ей, например, приходили на память стародавние, каждому ребенку когда-то известные шуточные вирши, вместо «А Макс и Мориц, видя то...» – в мозг ее звучало издевательски: «А Филип Моррис, видя то, на крышу лезет, сняв пальто»; кто был этот господин, она не знала и не узнает уже никогда, но сигареты имени его стоили на черном рынке целых 5 руб. пачка, это она усвоила прочно... зачем, для чего?.. ах, трижды прав был Антон Павлович: ничего не разберешь на этом свете. Да и надо ли?..

... Словом, так вот они посидели тогда, и затем, оставшись одна, Галя Абрамовна со вкусом поужинала, не пронося ложку мимо рта, кряхтя перемыла посуду, – мир мог перевернуться, а она остаться одна-одинешенька, так что и не для кого было поддерживать порядок, но пока она была еще на каких-то ногах, посуду следовало вымыть за собой сегодня, сразу же после еды, не портя картину завтрашнего вставания особенно противными с утра невымытыми, с присохшими остатками еды, тарелками и ложками-вилками, это было всю жизнь нерушимо, – умылась

³ То тут, то там (нем.)

сама, уже еле дыша, выпила слабительное, которое должно было подействовать через 8-10 часов, как-то переделась для сна, положила вставные челюсти в стакан с водой и, выключив ночник и подоткнув для тепла снизу одеяло аккуратным конвертиком – эта давняя, с детства, привычка сейчас, когда старческая медленная кровь почти не доходила до конечностей и не грела их, пришлось как нельзя более кстати, – закрыла глаза. Закрыла с привычным, но не потерявшим от этого силу страхом бессонницы. В последнее время бессонница ночь напролет держала ее на грани сна и бодрствования. Когда перед глазами уже плыла вереница картинок, немыслимых наяву, вроде человека, глядящего в лупу на собственный же глаз, или Алексея Дмитриевича, уверявшего, что он не умер в 1954 году, а как раз ожил и исполняет поручения графа Воронцова-Дашкова по управлению образцовым удельным совхозом «Заветы Ильича», – то есть когда именно начиналось засыпание, которое она так любила, хотя ей показывали невозможную чепуху, но зато зрительно ярко, многоцветно, как раньше наяву, и можно было видеть без усилий, а это делание хоть чего-нибудь без усилий было так отраднo, – так вот, когда начиналось засыпание, Галя Абрамовна без перехода, безо всякого ощущения толчка изнутри или извне вдруг просто открывала глаза, и оказывалось, что она опять бодрa, словно уже наступило утро, но до утра было еще несколько часов, а она оставалась бодрa и шансов уснуть – ни малейших. Но это псевдободрствование никогда не успевало созреть настолько, чтобы старуха приняла решение: встать, зажечь свет и занять себя чем-нибудь до утра. Нет, она успевала только дойти до состояния полного раздражения нервов и изнеможения тела, как тут же опять перед глазами начинали плыть те зыбко-яркие, фантазийные, воспользуемся этим парфюмерным термином? кто мешает – картинки, которые снова вводили ее, если верить журналу «Здоровье», в начальную фазу сна. И эти “куншттюки” ехидны-бессонницы продолжались всю ночь, и так ночь за ночью она, вместо того, чтобы, отдохнув, набраться сил, лишалась и тех, что еще оставались.

Однако в ту ночь ей крупно повезло: она уснула моментально, глубоко. И что же? Уже не в засыпании, а в настоящем сне – тут как тут, словно лист перед травой, встал перед ней дорогой ее Алексей Дмитриевич, но почему-то без замечательных своих усов цвета гречишного меда, а этого быть никак не могло, поскольку после нее, Гали Абрамовны, и, пожалуй, Зары, более всего дорожил он своими усами; сколько бы ни просила она его хотя бы подбрить откровенно старорезимные усы, предательски-авантажнo торчащие острыми стрелами с чуть загнутыми вверх острыми кончиками, Алексей Дмитриевич был неумолим, продолжая спать в наусниках и наутро холя свое сокровище специальной щеточкой-расчесочкой. Но теперь это, небывалое, совершилось. Она ни разу, никогда не видела его без усов и плохо себе его представляла без них, ведь усы так меняют внешность. Но, конечно, она все равно сразу его узнала, ей ли было не узнать любимого мужа. «Разве ты не умер?» – спросила она его как обычно, и он, обычно отвечавший: «Что ты? Я именно ожил», – на сей раз только ухмыльнулся незнакомой ухмылкой странно-безусого рта и спросил: «А ты как думаешь?» После чего немедленно изменился в лице, в цвете лица, ставшего изжелта-серо-зеленым, как бы цвета внутренностей вареного рака; затем лицо сплющилось в блин; затем блин скрутился в блинчик, завернув в себя, словно начинку, глаза, нос и рот, и исчез, оставив, однако, свой безобразный цвет, ровно заливший экран сна-зрения Гали Абрамовны.

Тогда предчувствие страха перешло в сам страх. Галя Абрамовна сознавала, как это часто бывает во сне, что спит, и надо только очнуться, чтобы избавиться от изжелта-серо-зеленого кошмара, начавшего вдруг облеплять ее и обмазывать со всех сторон, застывая на ходу подобно гипсу, которым она столько лет пользовалась для изготовления слепков зубов, и хорошо знала его обволакивающую, а затем мгновенно затвердевающую мертвую хватку. Она пыталась вылез-

ти из гипсового слепка-мешка, но приказы сознания никак не могли пробиться сквозь толщу сна к глазам, чтобы открыть их. Только это и нужно было – открыть их; но сон не пускал; вдруг выяснилось, что облепившая ее корка – всего-навсего приготовительный этап. Теперь, когда ее одели в гипсовую рубашку и с ней, напуганной до крайности, можно было делать что угодно, – теперь внутрь ее вошло... свечение? Но со светом связывались тепло, покой: свет – он и был свет; теперешнее же свечение было темным, и тьмущий этот свет смутил ее душу до такой степени, что та потеряла контроль над телом, и Галя Абрамовна непроизвольно обмочила простыню. Но и тогда она не проснулась от мокрого холода, как не просыпаются от него маленькие дети. Но она не была ребенком, с ней явно происходило что-то особенное, и если бы она могла сейчас размышлять, то сказала бы, что сон ее – не простой сон.

Но она не думала ни о чем, не только потому, что плохо умела думать во сне, но и потому, что *увидела* предмет или скорее существо... словом, то, *что* светилось, и сразу поняла, *что*, точнее, *кто* это. Она видела это незримое существо впервые, но узнала сразу... Такая гулкая тишина наступила, что шаги неслышные смерти стали слышны, проявились на внутренний слух старухи, как проявляется вдруг текст секретного письма, написанного молоком, если подержать письмо над огнем. Она слышала, как существо, войдя в нее, стало ходить невесомо внутри нее будто по лестнице, вверх-вниз, вверх-вниз, светя себе, чтобы оглядеться, собой же, как фонариком. И Галя Абрамовна вдруг увидела себя со стороны – чего в обычном сне не бывает, человек во сне видит все в «первом лице» – словно слабоосвещенную комнату, увидела будто с улицы сквозь окно, сквозь паутинообразную туманность тюля; она смотрела на себя и видела, как истекает, сочась, тихим-тихим свечением.

Инфракрасным свечением смерти.

И тело стало распирать светящейся, зараженной и заряженной смертью душой, ширящейся от страха, доведенного до полноты, распирающей ее, как алкоголь распирает больную печень. Страх этот превосходил все известные ей виды страха не столько силой, сколько каким-то новым, иным качеством. Это был страх-боязнь: высоты ли, темноты или насилия. Боязнь неотделима от надежды, что, быть может, все обойдется, пронесет мимо. Боязнь не знает, что на самом деле произойдет через секунду, а незнание будущего лишает ее определенности, твердости страха, что уже и есть бесстрашие. Страх, овладевший душой старухи сейчас, весь состоял из беспощадно-точного знания: **это** – не *будет когда-то*, а уже *есть*, вот оно уже свершается – гляди, еще есть время глядеть, сколько-то долей мгновения, – свершается именно так, а не иначе: запросто, как выносят мусорное ведро, происходит невозможное, противоестественное для живого и потому невообразимо-ужасное – лишение живого жизни, то есть всего, что он имеет, всего, что он знает, всего, наконец, что он – есть. У нее отбирали ее, не оставляя ей – ибо «ее»-то как раз и вывели за скобки, всю целиком без остатка сдали в архив, на ее прежнем, изо дня в день три десятка тысяч дней привычно-непременном присутственном месте не стало никого, кому, если даже захотеть, можно было что-либо оставить, – не оставляя ей ничего. Никого и ничего, даже пустоты. Ибо пустота не есть еще ничто, пустота есть пустота; а сейчас воцарялось – ничто. Ничто навсегда.

Смерть, играя с ней, еще подержала ее у себя, в Ничто Навсегда, еще на какой-то невыносимо-вечный миг задержала ужас в душе старухи и затем вышла из нее столь же необъяснимо мгновенно, как и вошла, – просто прошла сквозь Галю Абрамовну, как луч сквозь стекло, и ушла. Луч тьмущего света ушел в свое темное царство. Старуха больше не видела ни себя, ничего. Видимо, смерть сочла свое кратковременное, каким бы долгим оно ни казалось, пребывание в ней достаточ-

ным для первого раза. Почему-то она решила не забирать ее сразу к себе, а сначала только познакомиться. Представиться. Прощаясь, она пожала Гале Абрамовне сердце, слегка, по-своему бережно, но от чудовищной боли отдаленного сердца старуха, наконец, проснулась. Она потянулась за валидолом на прикроватной тумбочке, но он не помог, и тут она осознала, что никаким валидолом, ниже валокордином и даже нитроглицерином эту боль не унять, а она сама уймется. И точно, через минуту боль утихла, как будто и не произошло ничего. Осталось только одно зримое свидетельство ночного происшествия – мокрая простыня, но и ту Галя Абрамовна позаботилась застирать (нелегко восьмидесятисемилетней женщине возиться со стиркой, особенно отжимать тяжеленную выстиранную простыню – но не Лилю же просить, скажет потом Семену – старуха совсем впала в детство... стыд-позор, смех и грех). Однако тяжелая работа с простыней оказалась более легкой, чем просто взять и вычеркнуть визит незваной гостьи из памяти.

Напротив, чем сильнее она пыталась надавить на свою память, чтобы та захлопнула, наконец, дверь, не пуская новоявленную знакомую даже на свой порог, тем сильнее дверь памяти выдавливалась могучей рукой снаружи внутрь и открывалась, впуская непрошеную. Гораздо лучше работала попытка переключиться на что-нибудь другое, что угодно. Но и этот способ был далек от совершенства, она могла смотреть телевизор, сладко пережевывать вкусную пищу, разговаривать с Лилей, но все это защитное поле то и дело дырявилось, казалось бы, далеко отодвинутой ночной посетительницей, постоянно напоминавшей о себе; даже если удавалось совсем отключиться и не думать ни о чем, с головой уйдя в переживание очередной семейной серии с продолжением, та все равно находила окольные, внесознательные, почему бы не назвать их шкурными? да, почему нет – тропы в глубину, к самому центру окружности ее «я», чтобы нашептывать и нашептывать: «Я тут, я никуда не уходила далеко, ты моя, моя, совсем скоро я приду за тобой и заберу в Ничто Навсегда».

В сказке заяц прячет в себе утку, утка скрывает в себе яйцо. Все они живы и являешь собой слоистую глубину жизни в три наката. Живя, роешь, копаешь жизнь, копаешься в жизни и – под одной формой жизни всегда открывается другая. Всюду жизнь, только жизнь и ничего кроме жизни, ее видимой всеохватности, мощи и неостановимости ее бесконечного течения. Конечно, наблюдать эту бесконечность и всеохватность могут только живые, но ведь это и суть все, кто есть, никого другого – нет. Мертвых же – нет; их и вообще нет, по определению: был человек – и нет; но и внешняя их оболочка, труп, он вроде бы присутствует, вот он вроде и здесь, лежит в гробу, но очень быстро становится незрим, уложен под слой кладбищенской земли, став, таким образом, составной частью жизни: где как не здесь, на кладбище, течет самая активная жизнь в форме рытья могил, заказов и установки памятников, то есть кипит пылкая кровь товарно-денежных отношений – наиболее жаркой формы жизни; но течет здесь и тихая, сокровенная жизнь поминовений с живым, греющим стаканчиком водки и живым же куском черного хлеба... живые воспоминания, иногда живые слезы, живой шепотный разговор с покойным – ты здесь? Мы, живые, сделали все по-людски, чтобы ты и мертвым был жив – иначе с кем же я говорю? – упокоенный-упакованный по-людски... Даже во время больших войн или эпидемий, или массового голода – не мертвые берут верх, а живые: очень скоро мертвых на земле опять не становится, их никто никогда не видит, а живые – вот они кругом, отстроились и обступают тебя живого. Жизнь похожа на капусту – сорок одежек, и все без застежек.

Но на самом деле в сказке говорится о другом. В ней говорится о том, как – на самом деле. Жизнь, как ни похожа на капусту своими сорока одежками, в одном отношении от нее отлична. Капустный стержень ничем принципиально от листьев

не отличается, кочерыжка твердая, но и только, ее можно грызть сырой или квасить вместе с листьями вилком. Капуста не содержит ничего не-капустного. Не то в сказке – в сказке говорится о действительном месте жизни в устройстве всего. В живом зайце – живая утка, в утке – живое яйцо, чреватое цыпленком или утенком; и мы ждем, что так и будет все время, слой за слоем, до бесконечности. Но внезапно все обрывается... В яйце оказывается не живой цыпленок, а игла. Можно сказать, что стержень иглы и держит все сооружение – по крайней мере, придает смысл существования всем слоям жизни, заворачивающим его в себя: если бы не игла, не было бы нужно яйцо, чтобы спрятать ее в себе, ни утка, чтобы спрятать яйцо, ни заяц, чтобы спрятать утку. Сам же этот стержень – по ту сторону живого и мертвого; он стальной, неорганический. Но вот на конце его, на конце иглы – Кашеева смерть. Сам стержень, сердцевина жизни, ее смысла, нужен лишь для того, чтобы на конце своем поместить и спрятать, завернув в жизнь, – смерть.

До этой правды Ивану-царевичу еще предстоит добраться. Но рано или поздно он доберётся.

Рано или поздно – стоит поставить на плиту и разогреть – толстую пленку жира в кастрюле остывшего борща, вкуснейшего из Лилиных произведений, рыжий затвердевший диск вдруг прорывает, и, разламывая застывший жир, обнаруживает себя все то густое варево, ранее сокрытое этой пленкой, которое и есть собственно борщ; так – для кого раньше, для кого позже, для кого перед самой смертью под девяносто – пленку казавшейся всеохватной и непоколебимой земной жизни, принимаемой за всю, абсолютно всю земную наличность, вдруг прорывает, и человека, не ожидающего того, вдруг пронзает игла, несущая не чью-то Кашееву, но его собственную смерть, до поры до времени сокрытую от него плотной еще минуту назад пеленой жизни, и слабая от привычки к жизни – ведь сколько бы ни закаляла иная жизнь человека, но самая суровая и горестная судьбина все равно расслабляет его, приучая к себе-живому; даже злостная привычка к курению может быть побеждена, поскольку существует сама альтернатива – не курить, но жизнь не дает живущему альтернативы – живя, не жить, не присутствовать в жизни, живущий просто не имеет возможности отвыкнуть от жизни, – слабая душа человека содрогается от ужаса перед открывшейся ей картиной безусловного, неременного, а главное, чрезвычайно простого – был человек, и нет – уничтожения его земной жизни, бесследного погружения ее мнимой единственности в неисследимую выглубину безмерно великой, чудовищно безразличной пучины, из которой еще никого не выносило на берег.

Вообще говоря, Галя Абрамовна давно уже умела распознавать смерть, читать ее следы. Из боли в почках и в заднем проходе, из глухого шума крови, волнами подкатывающей к вискам, из привкуса кала во рту по утрам, седых волос, пучками остающихся на гребне, из каждой клеточки тела – ибо каждая клеточка ее тела была частицей материи разлагающейся, то есть стремящейся к изначальному состоянию: состоянию праха, – сочилась смерть. Смерть попросту выступала, как капли пота на лбу человека, вкалывающего в поте лица, от самого движения жизни к своему окончанию. К смерти. Можно бороться со смертью от тифа, инфаркта, даже рака, но бессмысленно даже пытаться победить смерть от старости, потому что остановить смерть тут значило бы остановить жизнь.

Но все же до **этого** оставалось место утешению. Оставалась надежда, связанная с самим пониманием смерти, к которому чуть ли не с детства приучили ее и всех вокруг: смерти как таковой нет, «смерть» это только слово, обозначающее угасание жизни до полного затухания вот в этой точке, точке «меня».

Иначе говоря, «смерть» есть то, чего нет. Вот почему Галя Абрамовна, если речь заходила об этом, спокойно повторяла любимую не ею одной чью-то максиму: «Я не боюсь смерти – пока я есть, ее нет, а когда она есть, нет меня». Это лучше

всего выражало логику даже не столько мысли, сколько живого чувства живущего. Потому-то смерть от старости всегда представлялась ей, как и большинству людей, наилучшей из всех возможных: человек просто тает, как сосулька, и не замечает, может быть, даже совсем пропускает момент своего перехода в нуль. Ведь природа как-то же продумала все за нее и за всех; ее родили (говорят, всем больно рожаться, но заботливая природа сделала так, что она и не помнила никогда с тех пор этой боли – кто ее знает, чувствовала ли она тогда свою боль во всю силу, или свежеиспеченный младенец еще не имеет развитых, полноценных перцепторов и страдает, сам того не слишком ведая), ее провели по жизни (в которой были многие горести, но ей послали время и многие способы залечить, *утишить* их до легкого чувства светлой скорби), – ее и уберут, когда надо, самым естественным, самым переносимым способом. Немного боли, пусть сильной, но недолгой – или она будет, за древностию лет, почти или совсем вне сознания и так и уйдет, не чувствуя ничего... Иное дело, когда законы природы нарушаются по воле человека, как при убийстве или самоубийстве, или по воле страшной стихии – и человеческая жизнь во цвете сил и в полноте чувств прекращается внезапно, противоестественно.... это, должно быть, непереносимо; но не было еще ни одного, кто и этого не перенес бы, не умер бы, что уж говорить о ней – в ее возрасте с каждым годом шансы умереть как *нельзя лучше* увеличивались. Сейчас их можно было условно определить, как 87 к 100. Условно, потому что условно само число 100, само слово «век». Но если принять эту условность, *ее век* уже приближался к «веку» вообще. Какой выигрыш!

Выигрыш был налицо. И что же? Сейчас, глубокой старухой, пережившей всех и вся, и, казалось, самое себя, сейчас-то, после **этого**, она как раз и узнала – каждой из оставшихся в живых своей клеточкой, – что такое уму неподвластный ужас смерти. Смертный страх. Потому что она увидела **ее** лицо. И не было лица ужасней. Ничего ужасней того, что – вопреки, казалось бы, безупречно логичной максиме – смерть б ы л а. Живая смерть. Была там, где была и она, Галя Абрамовна, и даже в ней самой, внутри нее. Смерть – была, и она не была только словом; у смерти было собственное имя – Смерть. Имя собственное. И не было никого и ничего ужасней.

Мириады одухотворенных частиц материи, сложившиеся в строгий порядок, стройное целое ее организма под действием стягивающей, центростремительной силы жизни теперь трепетали силы центробежной. Ибо целью смерти был разрыв всего прежнего порядка; и что бы ни было ее дальнейшей целью: строительство какого-то нового порядка, порядка праха, или окончательный хаос, – живые частицы, притершиеся друг к другу, панически-яростно сопротивлялись, ужасаясь уже одному моменту предстоящего разъединения, упразднения многолетнего обжитого товарищества, роспуска и разгона его, ухода по одному в Ничто Навсегда. Это усугублялось тем, что последние тридцать лет ее жизни складывались из потерь, составляли ряд утрат; таким образом, очередное несчастье заставляло Галю Абрамовну вжиматься в себя, снова и снова чувствовать свою отдельность. Миру не было дела до ее потерь – но только ей, ей одной. Бывают злосчастья, тренирующие душу на расширение, приучающие ее к хотя бы временному самозабвению, хотя бы к небрежности памяти о себе: такова, например, война, когда человек, попадая в поле общего сверхнапряжения, ощущает себя в иные миги – минуты, часы ли – не более, чем вибрирующим язычком пламени огромного пожара. Здесь был случай иного рода – потери мужа, дочери, матери, Софьи Ильиничны, еще двух приятельниц, наконец, Марка, растянуто последовательно случавшиеся на ровном фоне оседлой обеспеченной жизни, последовательное обрывание ниточек, связывавших ее с жизнью, – все это заставляло каждый раз заново остро ощущать свою незащищенность, болезненно сжимающееся «я»,

границу между ним и тем, что им не являлось. Такая хроническая гипертрофия «я» лишь усиливала сейчас ужас перед его уничтожением. Но – что бы там ни было, она не привыкла сидеть ни сложа, ни опустив руки. И теперь она готовилась встретить **ее** снова, лицом к лицу, уже ожидая гостью, чтобы, встретив, запереть дверь в себя прямо перед **ее** носом. Старуха не знала, как она это сделает, но во всяком случае одно было ясно: чтобы противостоять Смерти, надо, по крайней мере, успеть обнаружить ее следующий приход – а в том, что он воспоследует вскорости, она не сомневалась – прежде, чем Смерть успеет опять проскользнуть вовнутрь. А это значило – прежде всего нужно непрестанно бодрствовать. Стеречь. Галя Абрамовна теперь оставляла по ночам свет рядом с кроватью включенным. Она завела, точнее вернулась к детской привычке сосать леденцы. Она почему-то никогда не любила шоколадных конфет, хотя держала их для гостей, а так как приходила к ней теперь только Лиля, сделанный давно запас не было нужно пополнять; она радушно угощала Лилю купленными тою же по просьбе старухи конфетами «Чапаев» – вот не думала никогда, что опять встретится с ним, и где же? на конфетной обертке – и «Данко» (тоже что-то напоминало, не совсем конфетное, вроде бы, но пусть их, сами конфеты, кажется, еще туда-сюда), не замечая, поскольку сама не брала их в рот, что те покрылись уже слегка белым налетом и имеют соответствующий вкус; сама же предпочитала им ириски, а того лучше кисленькую, освежающую карамель «Барбарис», подушечки и леденцы. И теперь все, что можно извлечь из сосания леденца: трение языка о ребристую, жесткую поверхность, перекачивание конфетки во рту, заглатывание кисло-сладкой слюны, чаще всего с резким привкусом ментола (если верить Лиле, куда-то окончательно сгнули и «Барбарис», и «Дюшес», и монпансье в жестяных коробочках, и есть лишь вот эти мятные леденцы с дурацкими названиями «Взлетные» – так и не продавали бы их в кондитерском отделе, а раздавали бы на самолетных рейсах при взлете – и «Популярные»; Марк бы наверняка съехидничал: «Хотелось бы знать, среди кого и чем это они так заведомо популярны? Может быть, даже научно-популярны?»), – теперь все это обеспечивало ей ту отчетливую непрерывность вкусовых ощущений, по которой старуха могла знать: она здесь, не провалилась в опасную яму дневного полусна. Конечно, иной раз и леденец подводил, сам собой тихо тая во рту, пока она отключалась минут на 15-20 (а чего вы хотите, если ночью одолевает бессонница?), но все же, все же... В целом система функционировала нормально (любимое выраженьице того же Марка, почерпнутое им из космических репортажей; на традиционный вопрос о его здоровье он традиционно-торжественно отвечал, письменно, хотя в этом не было нужды, она и так заучила давно его ответ: «На борту корабля все системы функционируют нормально»; да, он был ох-шутник, этот Марк, для тех, кто его не знал, да...) Но вот ночью... Не могла же она вообще не спать! Впрочем, она почему-то была уверена, что в следующий раз Смерть, существо прихотливое, не захочет повторяться и ночью не придет. Все же Галя Абрамовна разбила ночь на несколько отрезков, по два часа в каждом, и давала себе на ночь посыл, задание – просыпаться каждые два часа. Интересно, что не всегда, но частенько это у нее выходило; в любом случае это, вкупе с бессонницей, с которой они теперь, как соседки по коммунальной квартире, попеременно враждовали и союзничали, не позволяло крепко спать, держа в постоянной готовности к бодрствованию.

Так она жила теперь, не желая умирать, но зная, как знает человек, у которого болит, что ему больно: не то что дни ее, но часы – сочтены. И от этого физического знания, от силы сопротивления жизни, упирающейся в дверь, чтобы та не открылась навстречу Смерти, все стеснилось в ней и сдвинулось. Что-то новое произошло в ней, что-то важное, чего не было раньше, все приобрело новый вкус – даже холодок мятного леденца отдавал холодом могилы. После **этого** и началось то новое, чему, казалось, не будет конца: вопросы, которые прежде почти никогда

не приходили ей в голову, а если приходили, так она с легкостью отмахивалась от них, вдруг зазвучали в ней беспрестанно и бесперебойно, опять же не словесно, а вот этими уколами и зацепами, зарубками сознания – и если приходится передавать их словесно, развертывая то, что несли в себе зарубки и уколы эти, то только потому, что другого, более совершенного, чем словесный, способа литературного, письменного изложения чувства и мысли – пока еще, к несчастью, не придумано.

Прежде всего следует отметить, что сам характер бессонницы начал с момента первого свидания меняться. Старуха по-прежнему лежала часами без сна; однако же бессонница все менее походила на ее прежнюю, издевательскую, состоящую из пустот, заполняемых раздражением и злостью, и головную болью под занавес, но скоро перестала походить и на следующую, отчасти союзническую – а все больше шло к тому, что нынешняя бессонница словно была ей *п о с л а н а* специально, нарочно, с одной целью: пропустить сквозь нее поток этих уколов и зацепов, чрезвычайно неприятных для ее сознания, вынужденного, однако, бодрствовать безо всяких поблажек временного отключения в полусон, а значит, пронзительно болезненно, как нерв большого зуба без анестезии отзывается на попадание в него работающего сверла бормашины, воспринимать этот колющий и цепляющий поток.

Когда-то, совсем девочкой, прочла она рассказ «Пестрая лента», который из всех рассказов о Шерлоке Холмсе произвел на нее наиболее сильное впечатление. Ее трясло до зябкой дрожи от самой ситуации: привинченная намертво к полу кровать; девушка, обреченная спать на этой кровати; змея, бесшумно спускающаяся к кровати по шнуру отключенного звонка. Змея может и не укусить сегодня; но когда-нибудь, как-нибудь под утро она укусит наверняка, и раздастся нечеловеческий крик, и отвратительно-слабый, серенький, предрассветный английский луч, проникнув в щель ставни, упадет на искаженное ужасом и болью лицо человека, умирающего от яда тропической змеи в запертой комнате.

А теперь она сама оказалась в таком положении! Не спрятаться, не убежать... Одни и те же крючья, иглы и ланцеты преследовали ее каждую ночь в течение многих ночей. Кроме их регулярности, у них была еще одна, указанная уже пугающая особенность: они явно не принадлежали ей самой, а только приходили, будучи *посланы* – кем? – по ее душу. Ясно было, что к ней подключили какое-то невидимое устройство, словно она подопытная крыса или обезьяна; вот опять – побежали они, режа и коля, цепляя, доводя до помрачения.

Они не только ставили под сомнение все, на чем привыкли строить свою жизнь она и все кругом, все то, что давало чувство выполненного урока, достигнутой цели, не напрасно прожитой жизни, – они сами по ходу доходчиво и неопровержимо объясняли, что урок бессмыслен, цель только кажущаяся, а прожитая жизнь не стоит ровным счетом ничего.

Начиналось все, как правило – так шахматная партия начинается, как правило, ходом e2-e4, – уколом: «Зачем?»; это был сигнал включения, начало пытки. Несносное «зачем?» более чем отчетливо – назойливо возникало на внутреннем экране зрения кудлатой маленькой шавкой с завитком хвоста в виде вопросительного знака – шавкой из числа той пронзительно-визгливой мелюзги, которая на собачьей площадке вечно носится, твякая, – она помнила это со времен, когда была еще слышащей, и сейчас это визгливое твяканье отчетливо раздавалось в ее внутреннем слухе, – под лапами догов, шотландских овчарок, московских сторожевых и афганских борзых, и, заводя ссору между собой, ссорит заодно и этих больших, благородных собак, которым иначе и в голову бы не пришло так плебейски цапаться. Галя Абрамовна, впрочем, и последних-то, с хорошей родословной, не жаловала, невзирая на их красоту, – за равнодушие к опрятности, оставляемый повсюду шерстяной пух и запах псины, а уж мосек просто терпеть

не могла. Зачем? Ей, как уже сказано, в голову не приходило никогда прежде, зачем, чего ради она живет. Она знала и так. Ради? – хотя бы ради близких. Зачем? – а вот зачем: и в девичестве, и в зрелые годы своей женской жизни привыкла она знать априорно: дыхание, питание и питье, ароматы полевых и садовых цветов и вонючие, но необходимые дымы производственных труб, ухажеры-поклонники, сладко кружащие голову увлечения и ровная семейная любовь, плод ее – дети, как и труд, отдых, сон, болезни и выздоровления, жара лета, осенние дожди, зимний снег – все это называлось словом «жизнь» и имело смысл в самом себе. Жизнь, с тех пор, как она возникла, всегда была, есть и будет, кроме нее ничего нет, и значит, в ней самой по себе и есть некий серьезный смысл, разгадывать который не ее дело, а ее дело – жить в полном смысле слова «жить». Смысл жизни – в ней самой; цель жизни – жить полной жизнью. В этом понимании ее еще более укрепляло отменное здоровье, позволяющее ощущать жизнь своего тела во всех ее проявлениях как жизнь *правильную* и уже тем доставляющую удовольствие, и красота, тот не столь уж часто встречающийся в наши дни, но все же сохранившийся в... в штучных, что ли, да, так, – образцах издревле и по сей день еврейский, шире – семитский, левантский тип красоты, в котором дальнейшее послание Ближнего Востока во всем: форме и величине век с легкой поволокой, глубине тона бархатно-черных глаз, изящно-неправильной линии чуть вислого, но тонкого носа, в костяной точности скул – воспринимается как привкус и пряная ароматическая добавка, не имея густой экстрактивности вкуса и запаха выдержанной еврейской крови, ее – если верно утверждение виноделов, что такое-то вино «имеет корпус», а такое-то «не имеет корпуса», то верно будет и это слово – ее *мясности*, вызывающих нередко, что уж греха таить, у представителей куда более молодых народов отчетливую идиосинкразию. Галя Абрамовна слишком долго и постоянно пользовалась успехом, усиливающим ее любовь к жизни до полного слияния с ней, оказываясь тем самым настолько внутри жизни, что никак не могла задавать вопросы, возникающие лишь у стороннего наблюдателя, обзирающего жизнь как целое – снаружи.

Так вопрос «зачем?», если и возникал когда-либо на поверхности ее сознания, то тут же отправлялся в самый дальний ящик, а его непринужденно подменял другой, куда более серьезный, потому что этот вопрос в самом деле требовал ответа, неотложно-ежедневно: «Как?» Как обеспечить эту прекрасную жизнь? Понятие *оправдания*: умение заработать, труд вспахать, посеять и пожать, право есть свой хлеб – как-то естественно и незаметно заступило понятие цели и смысла жизни. Живешь, чтобы обеспечивать свою жизнь. Обеспечиваешь – чтобы жить.

И она непрерывно обеспечивала свою жизнь и жизнь еще троих людей на протяжении многих десятков лет. Она вкалывала не покладая рук. И если бы ее спросили, пока еще она вот так вкалывала, а жизнь тем временем вот так происходила, удовлетворена ли она своей жизнью, не кажется ли ей, что жизнь прошла мимо, что в ней не хватало чего-то важного, – она бы искренне ответила: «Нет. Не кажется. Не напрасно. Я не всем довольна, – никому, знаете ли, никому, врагу не дай бог пережить свою дочь, – но мне всего довольно». Так много наполняющего жизнь уже случилось, а что-то еще должно случиться, что-то еще ждало впереди...

И вот – все случилось совсем; впереди не было ничего, кроме Смерти. Ничего, кроме Ничего. Которое одно только и должно было еще случиться. Ничто Навсегда.

И высунулась злая шавка, изогнув хвост колючком вопросительного знака, и залаяла. Зачем? Зачем? Зачем? Чтобы было, что вспомнить. Вот ответ. На, ешь.

«Будет, что вспомнить»... Да... Ну вот, теперь у тебя только и *есть* – то, что можно только вспомнить. Больше ничего, кроме воспоминаний, нет и не будет. Все, что могло или не могло, уже случилось или не случилось – бесповоротно и окончательно. Осталось только то, что вспомнишь.

Что ж, ей бы л о, что вспомнить: горечь потерь, слезы разлук, боль смертей самых дорогих людей, и страх, страх: во время гражданской – не заметут ли и ее, как других прилично одетых, частым гребнем в Чрезвычайку, и поди там докажи, что ты сама за классовую беспощадность до полной победы труда над капиталом, и только просишь причислить себя к людям труда, потому что это правда, так; и тогда же страх – что там на юге с Алексеем Дмитриевичем; страх много лет спустя после гражданской, что узнают про дочь и про мужа; позже – мелкожитейский, но какой еще противный страх, что муж узнает то, что она скрывала от него, – и тогда, с тем, и еще вот тогда, с этим, обманывала чистейшего человека против воли и сама стыдилась и боялась, до сих пор еще иногда краснеет от стыда, вспоминая; и другие гадости, которые она делала другим, не желая того, а другие делали ей, и какие-то мелкие унижения; и – как Зарочкиной фоточке выкололи глазки, мерзавцы, мертвой красавице выколоть глазки! и... – словом, все, что ранит, болит и ноет, все, что лучше как раз **не** вспоминать – вот это и вспоминалось, то одно, то другое, само собой, без усилий, всплывало, и хорошо хоть потускнело от давности, не так бережит, но все же порой делает больно, и еще как; ну а если напрячься? Тогда наружу лезли совсем уже какие-то гадкие мелочи, грошовые унижения... – и, само собой, работа, работа, работа, разные рты без разных зубов, по-разному, но всегда некрасивые – как может рот быть красивым без сплошной линии зубов? – часто просто безобразные, совсем беззубые или пародонтозные... это, впрочем, вспоминалось привычно, без негативных эмоций, это была ее работа, условие работы, все эти прикусы, дигитальные и прочие, особенно характерно-еврейский, когда нижняя челюсть и с ней нижний ряд зубов выдвинуты вперед, так что верхний ряд западает внутрь нижнего, а нижняя губа перекрывает верхнюю... но – зачем и что тут вспоминать? Это уж точно – о т р а б о т а н н ы й м а т е р и а л. Все же очаровательные, радостные, нежные минуты ее жизни – таких тоже было немало – точно так же (да нет, почему-то сильнее) потускнели от давности, стерлись еще более, чем плохие. Да, но то, что плохое прошлое стирается и не так бережит – хорошо (хотя хуже, чем если бы этого плохого не было и не о чем тяжелом было бы вспоминать), а то, что отшелушивается и мертвеет хорошее прошлое – плохо. Но ведь иначе и быть не могло в ее годы. Когда человеку окончательно *есть, что вспомнить*, ему *нечем вспоминать*: онемевшие ноздри и кончики пальцев души не воспринимают больше сам живой запах и фактуру памятного события, зарегистрированного, да еще и неважно зарегистрированного, в кладовке склеротической памяти. Обоняние и осязание памяти немوتствуют; только детство, да, только оно одно и вспоминается живо-радостно, только детские воспоминания и греют, но тогда жить, чтобы было что вспомнить, нужно не дальше детства, лет до двенадцати; да, а как тогда доживешь до того времени, когда будет, что вспомнить?.. Тришкин кафтан.

Ладно. Еще попытка. Хорошо, детство. А дальше детства? Был какой-то девичий флирт, потом девичий же роман с таким-то, а мог и с таким-то; потом – уже не совсем девичий – с неким Сашей, кажется, военврачом... да, Саша, Александр... Петрович? Допустим. Что значит «допустим»? Вспоминать – так уж вспоминать все как есть. Да в том-то и дело, что ничего н е т, все только б ы л о, так что уж будь любезна допустить, что он именно Петрович – и плавно двигаться вперед в прошлое, так правильно? Да, именно так – не то, если на чем угодно застрянешь, так сядешь на мель, а там и вовсе вылетит все в Ничто Никуда Нигде. Сколького будешь еще наступать на старые грабли? Ладно. Петрович так Петрович. Высокого роста, худой и сутуловатый, с подбритыми усиками, любитель преферанса и всех этих поговорочек во время игры, всех этих «заповедей преферансиста»: «Под вистующего – с большой длинной масти», «Посмотри в карты соседа – в свои всегда успеешь», «Два паса – прикуп чудеса» – и прочая. Вероятнее всего – светлый шатен. И совершенно отчетливо – легкий кисловатый перегар медицин-

ского спирта, употребляемого в умеренных дозах. А тот... Виктор? Носил полосатое кашне. Подобно чеховскому Беликову, ходил даже в ясный день в калошах, должно быть, чтобы, сняв их в гостях, остаться в башмаках. Вероятно, стеснялся рваных или не совсем свежих носков; это бывает. Мелочь, однако же из неприятных. Вот почему она всегда следила, чтобы у Алексея Дмитриевича имелся достаточный запас нитяных и шелковых носков. Слава богу, он не дожил до синтетики – запах нейлоновых носков... запах потных ног – самое противное в мужчине после скупости, скупость она могла простить только Марку, и то потому, что с ним у нее амурных дел не было... Или вот – выпало из памяти имя, но – очень красивый румынский еврей. Потом убыл в Киев, где, если верить людям, что это точно тот самый, убит петлюровцами. Как и ее тетя Сима. Любил холодный свекольник, селедочку с лучком под обеденную рюмку водки и кисло-сладкое мясо... с черносливом; именно – с черносливом. А вот, наоборот, имя-то всплыло: Модзалевский, – но вот кто это, хотела бы она знать... Да, обеденная рюмка. Тогда как-то все знали: место водки – за обедом, рюмка-другая для аппетита. Совсем не то, что сейчас, выпить бутылку водки, фу! Как Витя у Понаровских и эти его девочки. Американские и английские «Ли Купер» стоят 150-170, а гонконгские «Пайонер» – всего 110, а блок «Мальборо» – 50, а велюровый костюм – 300, ничего себе!.. Куда тебя опять занесло? Вернись. Да, мужчины любят глазами, но чепуха, что женщины – только ушами. Просто женскому глазу и сердцу важны не всякие там «ноги» – кривые ноги совсем не портят мужчину – и прочие «прелести», а – взгляд (и сейчас еще даже выветрившаяся память удерживает сладкий некогда след чьего-то давно уж анонимного восхищенного взгляда), улыбка (и все-таки – почему «Модзалевский»?).. Вот что важно в мужчине – улыбка, такая вот растакая улыбка имеющего за душой что-то эдакое... словом, то, что интересно разглядывать и разгадывать. Лучше всех на ее памяти, конечно, улыбался Алексей Дмитриевич, но в его улыбке из-под усов не было чего-то такого-растакого, а просто сразу чувствовалось – он твой домашний-роднуля; но осталась в ее не до конца же мышами обглоданной кладовой и еще парочка именно таких-растакых-разэтаких улыбок... от людей, которых в ее памяти – не осталось.

Галя Абрамовна пыталась пойти дальше, припомнить сладостную силу хоть чьего-то объятья, головокружительную крепость поцелуя, возжеленную некогда каменную твердыню мужского тела; но на скользких тенистых «таких-растакых» улыбках все кончалось. Тела и поцелуи прошлого оставались, как ни старайся, бестелесными, прозрачно-призрачными, как почти все в прошлом; и ее кололо и цепляло то, чего, как она ни напрягалась, не могла понять, обмозговать, но – чувствовала всем уколотым в межключичную ямочку и подцепленным за диафрагму на крюк своим естеством (между тем это, не дававшееся ее разуму, а только чувствуемое – было, в сущности, не так уж и трудно формулируемой мыслью, что рано или поздно прошлым становится все, а значит, в итоге прожитого, отжитого и отжатого – бестелесно, бесплотно всякое тело, любой поцелуй, и любая бывшая близость – далека и не нужна... Все, все уходит, а если что хорошее и остается живым в памяти, по-живому пленительно-дорогим, оно только понапрасну сжимает сердце, исторгая из сухого старческого нутра не живительную, а убийственную влагу плача о том, чего не вернешь и о чем вспоминать – только добивать себя).

Посмотри, посмотри-ка, нет, ты посмотри на себя вон туда, в зеркало, старая карга, сначала дойди, скрипучая, до него и погляди на себя единственным еще на четверть зрячим глазом – разве с *тобой* это было, могло быть? Кто ты и кто она, не скрипучая – кипучая, красивая, желанная? Глядя отсюда, старуха видела себя прошлую как *другую* женщину, и эта другая была для нее, как и все другие в сознании всякого человека, лишь движущейся фигуркой, допускающей произвольные, по своему хотению всякого «я», вспоминающего о всяком «нём», замены и перестановки чего угодно, тем более в пространстве прошедшего времени.

(Многие, очень многие так часто лгут, рассказывая о прошлом, своем и чужом, а другие винят их из-за этого в общей лживости натуры; тогда как обвиняемые, может быть, вовсе не так уж лживы – а обвиняющие, сами того в себе не видя, подвержены тому же, – но просто и лжи-то никакой не видят в том, чтобы передвинуть ту или иную почти неживую, игрушечную движущуюся фигурку на доске смутного, нетвердого, газообразного прошлого – на пару сантиметров вправо или влево. Эка разница, подумаешь тоже, может, именно так с «ней», этой фигуркой, – там, тогда, в какие-то «минувшие» – да и бывшие ли вообще года? – может, именно так тогда и было, и стояла она, эта фигурка, не вот здесь, а вот там, всего-то шаг разницы от близости до дистанцированного приятельства. Человек честно лжет, нельзя упрекать его за это, если прошлое само ведет себя так, что вечно выходит из своего некогда настоящего, твердого, осязаемо определенного тела, становясь газообразным полем игры воспоминаний. Игра бывает честной и нечестной, добавим, именно потому, что это игра, честное и нечестное в ней – играть, так уж играть – часто меняются местами, например, в покере блеф – самое главное, следовательно, общепринято-честное дело; кто блефовать, то есть честно мастерски лгать, не умеет или не хочет, тому нечего и играть в покер; стало быть, единственно честным в любой игре будет – играть по ее правилам; итак, игра может быть честной или нечестной, но нет и не было еще игры истинной или ложной... вернемся, однако, к героине повествования).

Она видела теперь ясно хитрую работу своей памяти, превращающую в Ничто Никогда – все дорогое и милое ей с помощью немудрящего, но хорошо исполненного трюка: объявив, напротив, возможным Все и Всегда. Там, где возможно *все* – там нет ничего. Этого Галя Абрамовна тоже не смогла бы сформулировать, но чувствовала горлом, в которое точно по диаметру вогнали на вдохе пробку четкого глотка чувства: тут, именно тут – обман. Ей не надо было думать, чтобы все видеть ясно, но поскольку победить двурушницу-память, вдруг отделившуюся от нее, затеявшую свою игру, при этом продолжая делать вид, что по-прежнему работает на свою хозяйку, она не могла, где уж ей было теперь победить хоть кого-нибудь – ей захотелось просто лишиться памяти. Если память начала изменять и предавать, пусть лучше уходит. Совсем. А она, Галя Абрамовна, пусть лучше впадет в беспмятство. Пусть так и будет. Теперь жизнь, о которой совсем-совсем ничего не помнишь, казалась ей правильно прожитой, и она с облегчением утонула бы совсем в белесом склеротическом тумане.

Все вздор. Буквально все. Той женщине, которая по всем статьям была «ею» в прошедшем, крупно повезло. Она знала, что такое обеспеченное существование, никогда не нуждалась, красота и здоровье не изменяли ей очень долго – у других за это время вся жизнь прошла, и не такая уж малая; не менее важной, чем красота и здоровье, удачей был от рождения счастливый характер, простота и сердечность, за что все, кроме тех, кого и вспоминать не обязательно, ее любили и ценили – лет до семидесяти с лишним она чувствовала себя нужной, лет до восьмидесяти – не чувствовала одиночества. Да, она знала горе, но у нас горем не удивишь никого, это так уж положено, и считай – не считается; да и горе в дом пришло уже в третьей трети жизни, первые две она отделалась легким испугом, вообще же – за столько лет жизни в стране, живя, как и все кругом, то есть на пять минут не зарекаясь ни от сумы, ни, боже упаси, от тюрьмы, быть однажды на самом краю пропасти – и все-таки ни разу не влипнуть ни в одну историю... да, она знала горе, но не ведала бед; нет, поистине жизнь ее, за двумя-тремя исключениями, была хроническим подарком судьбы. Да, она успела – в ранней молодости – побывать за границей, только в Вене, не так долго, ни разу не побывала ни в Париже, ни в Риме, но ведь много-много миллионов людей вокруг вообще нигде ни разу не побывали, а ей и Вены хватило – какой чудесный, вальсирующий город

– и сейчас она уже и не жалела ни о Риме, ни о Париже, ни о Лондоне, достаточно вспомнить Вену, а смотреть, вспоминая, на фотографии Парижа и Лондона, чтобы и их представить себе – по ней. Впрочем, и Вена вспоминалась спокойно, без радости и без печали, да, город чудесный, но и только, красивый, как Париж и Ленинград, но – и: и в Вене, и точно так же и в Париже – такие же, хоть и другие, каменные здания, такие же, хоть и другие, люди, говорящие на таком же, как русский, только на французском или немецком языках, которые ей тоже были знакомы и не выезжая, теперь подзабылись, но не совсем, – а быть несчастным можно и в Вене, за милую душу: Петербург ее ранней молодости был ничем не хуже Вены (а Ленинград стал сегодня, при стольких годах новой власти, должно быть, даже лучше Вены, да и Парижа), а сколько там было несчастных людей, и так же и в Париже, несчастным быть очень даже можно где угодно, и вполне счастливым где угодно, в Самаре и даже Стерлитамаке, нет, она совершенно не жалела, а не жалела, так не стоило и жаловаться. Зато как ее судьба отличалась в лучшую сторону – от судеб бедных, нуждающихся, совсем нищих, голодных, калек; больших физически и душевно; погибающих на всяких войнах мужчин; некрасивых женщин с тяжелым характером (да и красивая, если у нее тяжелый характер, кому будет надолго нужна?); арестованных, подследственных, обвиняемых, осужденных, заключенных в «мрачные пропасти земли» мужчин и женщин; обворованных, ограбленных, изнасилованных; преданных самыми любимыми, брошенных, одиноких не в восемьдесят пять, а в какие-нибудь ерундовые шестьдесят; а есть и такие, у которых, как у Маяковского и Есенина, было все: талант, громкая слава, деньги, красота, чуть ли не гарем влюбленных в них таких же красивых, незаурядных женщин, их пускали в Париж и Нью-Йорк, когда туда никого не пускали, – а они были всегда несчастны, вечно маялись... чем, почему? Чего им не хватало? Неизвестно, но чего-то такого самого-самого, из-за чего они были несчастнее всех других, голодных и рабов, что привело их к петле или пуле, тогда как последний нищий, не евший досыта, а то и вообще не евший уже бог знает сколько, не полезет в петлю, а лучше останется в своей голодной, в отрепьях, но – жизни; и сколько по всем городам и весям таких маленьких есениных – некоторых она знала – с их маленькими несбывшимися надеждами, маленькими неудовлетворенными амбициями, но, может быть, такой же большой, но урезанной жизнью запредельностью стремлений, делающей их несчастными разве что чуть менее, чем Есенин, разве что не собирающимися вешаться, но так же мрачно топившими свое несчастье в вине и любовничестве без любви... Почему-то именно в России так много всяких страдальцев неизвестно за что и отчего, неудачников-мечтателей неизвестно о чем, охотников неизвестно за какой синей птицей, сидельцев по невесте откуда взявшейся по их душу статье, хронических холостяков и, как теперь говорили, «разведенки» – с явной приспособленностью и даже склонностью к семье, очагу, вместе-житию... Да, как выгодно жизнь ее отличалась от судеб всех этих горемык, мизераблей, несчастных причинно и беспричинно, составлявших даже и сейчас, при шестидесятилетней уже, спокойной, мирной, отечески-справедливой Советской власти, никак не меньшинство знакомой ей – а она многих знавала и о многих слышала, зубной врач и протезист, принимающий на дому, слышит не меньше, чем свой парикмахер и маникюрщица – части населения страны (Марк обязательно отметил бы эту фразу, подняв свой пресловутый палец, который следовало бы назвать «ковырятьельно-указательным»: «Вот именно! А по части можно судить о целом, да? Вот теперь ты говоришь, как разумный человек», – на что она могла бы ответить: «Бога ради, не лови меня на слове. При чем тут власть, когда народ такой? Хороший мы народ, но трудный, даже для хорошей власти. Представляешь, что было бы, если бы дать нам «свободу» на американский манер – свободу спекулировать, тунеядствовать и каждому иметь огнестрельное оружие!»)

И самый большой подарок судьбы – сейчас она видела это как никогда просто и ясно, – то, что она, за исключением одной вещи, всегда жила вровень с собой, полагала счастье не за пределом, а внутри пределов собственного гнезда, умела радоваться тому, что есть, и вовсе не думала, что держит в руках только синицу, тогда как журавль остается в небе. Синица, а особенно снегирь зимой, никогда не казались ей менее красивыми, чем журавль, и держать в руках синицу-жарптицу было очень даже приятно, и оставалось только хотеть, чтобы все и дальше так шло; и оно так шло и шло себе несколько десятков лет – и даже без тех специфических неприятностей, которые были знакомы чуть не каждому протезисту-надомнику. Ее подвид частной деятельности вообще принадлежал, сказала бы она, к группе риска – восемь из десяти частных протезистов ни на минуту не могли расслабиться и не думать о грустном, они тряслись даже ночами со страху быть арестованными по первому сигналу любого недовольного их работой пациента или недовольного их обеспеченной жизнью соседа и получить до пяти лет тюрьмы с конфискацией. Это было более чем реально – это происходило не с одним из ее коллег. Вот почему, не только по идейному убеждению, но и чтобы жить и спать спокойно, она всегда декларировала свои доходы, исправно платила налоги, а с золотом связывалась только и только тогда, когда лично знала человека за порядочного не первый год и доверяла ему всецело; но потому-то она и вкалывала всю жизнь по 10-12 часов в день, чтобы хоть что-нибудь заработать, вызывая жалость и раздражение Алексея Дмитриевича: «Сколько можно работать? Жена ты мне или не жена? Пойдем мы, наконец, в гости, в театр или хотя бы в кино? Этому будет когда-нибудь положен конец? Ты слышишь, Галя? Я с тобой говорю, ты слышишь?!» Ей хотелось ответить: «Конечно. Как только ты спокойно, без вопросов, начнешь носить боты “прощай, молодость”, ушанку с кожаным верхом и драповое пальто вместо приличной одежды и есть котлетки из кулинарии вместо настоящего мяса – вот тут и наступит конец. Будем ходить в кино. На что другое – а на два билета в кино хватит, даже на вечерний сеанс». Вообще же, как ни претили ее гражданскому сознанию уголовные преступления, но ее человеческому сознанию, откровенно говоря («Строго антр ну?» – «Да, Марк, строго антр ну»), было не совсем ясно, почему необходимая и трудная работа на грани искусства, пусть выполняющие ее даже и уклонялись от уплаты налогов, пусть даже и скупали золото, не спрашивая о его происхождении, а то просто покупали кольца и цепочки в ювелирном магазине и переплавляли, – считалась, судя по величине сроков с конфискацией всего имущества, хуже хулиганства, практически приравняваясь к разбою, антисоветской деятельности и другим тяжким уголовным преступлениям. За что работяге, пусть не совсем честно выгадывающему лишнюю копейку для семьи, но ведь выгадывающему не за счет клиента, не за счет качества работы – такие, мягко говоря, цорэс? Не проще ли уменьшить налоги? Не все, но почти все стали бы платить – ведь это плата за страх, точнее, за его долгожданное отсутствие.

Да, этой женщине крупно повезло; и вот еще в чем – в том, о чем только и мечтают: она дожила до спокойной старости, да еще в своей квартире, не в доме для престарелых – и до какой старости: совсем скоро ей восемьдесят восемь. Почти девяносто. Почти век. Вот уж поистине преклонный возраст – и, в общем, не лежачая больная. Редкость. Прекрасно!

А что в ее судьбе прекрасного? То, что было до какой-то черты; но это прошло, от всего хорошего остался только розовато-газообразный сон – как и не было. А потом, после этой черты, пошло, полилось, как из ведра: потери, потери, потери – родных и близких, друзей и знакомых, красоты и здоровья... И вот та женщина, наконец, слилась с ней, сегодняшней Галей Абрамовной; вот, наконец, ее прекрасная, ее *ходячая* старость в своей квартире – глухое, почти незрячее, скрипучее-

сыпучее одиночество-одиночество-одиночество. Жить, чтобы жить... Вздор. Чепуха. Реникса.

Интересно, о чем ты раньше думала? Да не может, не может смысл какой бы то ни было вещи лежать в ней самой! Смысл искусственных зубов вовсе не в них самих, а в том, чтобы жевать ими *вместо своих*, настоящих. Свой смысл фиксы получают от выпавших из-за пародонтоза или умерших от периодонтита настоящих зубов. И так всякая вещь – свой смысл она получает от другой вещи, большей, чем она. А смысл жизни? Если он у нее есть, то от кого большего, чем она, – от кого она его получила? А если смысл ее – в ней самой, то вот она кончается, вот совсем окончилась ее жизнь – и с ней вместе ушел весь ее смысл. Или она его передала чему-то, кому-то другому? Кому? Да известно кому – другому. Этот ответ всегда готов, издавна, у всех мудрых во всех народах. Делай другому добро, передай другому все свое лучшее – ты умрешь, он проникнется твоим лучшим и продолжит. Продлит твою жизнь в том, что ты передала ему, а он, опять же, передаст другому.

Что ж, может быть, может быть, аллес ист мёглих⁴... Делала ли она добрые дела? Кто знает. Специально, наверное, нет. Впрочем, она и сама не встречала благотворителей, за исключением организаторов и участников благотворительных вечеров в ее детстве и ранней юности. К этим доброделателям она никогда не относилась серьезно. Однако же – сама всегда старалась, по крайней мере, никому не причинить зла, что было во времена, в которые ей выпало жить, может быть, не так уж и мало. А случалось, и помогала – почему не помочь, все мы люди – Лиле, например. И, между прочим, правильно сделала, Лили оказалась благодарным человеком, неизвестно, что нынче она бы вообще без Лили делала. Но ведь это просто удачный случай. А общий смысл? Что остается-то от этого всего? Ты ему помогаешь. Потом он умирает. Тот, кому он помогал, или отдавал твое добро тебе же – как у них с Лилей все замкнулось – тоже, в свою очередь, умирает, как и ты, как и всякий в этой эстафете или передаче по кольцу. С замкнутым кольцом все совершенно ясно – Лиле она что-то доброе сделала, и та ей благодарна, но вот уже Вите до нее нет никакого дела, и «добро» ее через Лилю – ему не передалось; спекулирует себе – пусть, но очевидно, что все ее доброе в э т у с т о р о н у где началось, там и кончилось – на Лиле. Но так же ведь и с «эстафетой». Где-нибудь она прервется наверняка. Не бывает так, чтобы ты ему, он детям, а те – детям детей, и так сотни лет. Не бывает – и все. Жизнь не спорт. В жизни нет тренеров, набирающих команду бегунов из сильных и равносильных (причем жизнь этой команды – максимум несколько лет). В жизни всегда где-то что-то произойдет непредвиденное – на то она и живая – и насовсем. Кто-то обязательно умрет бездетным, или замкнутым и одиноким, так что если и захочет, никому слово доброе сказать не сможет – ни души вокруг; или таким эгоистом, что сколько бы ему ни передавали, сам никому ничего доброго не сделает и не передаст – и тут всему, что в него вкладывали все предыдущие, и конец. Смысл этого всего? Цель? Были, да сплыли. Выработанная золотая жила. От твоего «добра» не останется ровным счетом ничего.

Да, но такова и цена... любого дела! Лю-бо-го. Все эти, как их там, «пароходы, строчки и другие долгие дела» (а уж как Зара читала Маяковского на выпускном вечере – бог ты мой, в какое разное время жили она и доченька: она на своем выпускном читала Гамсуна, а дочь – Маяковского) – все это вздор. Реникса. Какие такие пароходы? Зачем ей, чтобы ее именем назвали пароход? Это просто не-серьезно – плыть на пароходе «Геля Атливанникова». Три ха-ха, как говорили когда-то и она, и ее подружки. А кончают все эти пароходы и паровозы ржавчиной, дырами в них – и свалкой. Как она сама. И никакие не долгие эти дела – ни один пароход не плавал, со всеми ремонтами, целых восемьдесят семь с лишним лет, как она

⁴ Всё возможно (нем.)

сама, ее дело более долгое, чем быть пароходом, да только чем дольше она плывет, тем тяжелее и ненужнее плывется, вот удел всякого действительно *долгого* дела; «и всякая штука», – говорил какой-то герой Антона Павловича, ее всегда смешило, так ей ли во всякую такую «штуку» верить?

Дела. Сверхшения. Они останутся от человека после его кончины. Самые мыслящие, самые умудренные – а кому тогда верить, если не им, – так и говорили. Вот этот... ну, самый главный герой этого... ну, самого главного у немцев, она еще учила-учила его и выучила так, что помнит до сих пор пару строк – этот вот самый-самый умный, вот и он все испытал, в отличие от нее, маленького человека, что с нее взять, и в итоге смысл увидел только в деле. Дельный он был и себя нашел только в великом свершении. Город, что ли, он там строил, дай бог памяти, и болото осушил; то есть – он стал мелиоратором, что ли? Как там написано? А кто ж упомнит все, что там написано; выходит – да, мелиоратором, осушил, построил на месте болота город – и только тогда говорит, наконец, то есть всю свою долгую жизнь всё испытывал и ничего лучшего не испытал, чем осушить болото. Он говорит, как это... подожди, подожди... а, вот: «Verweile doch, – говорит он этому... Augenblick'у⁵ – du bist so schön»⁶ (да-да, еще что-то помню и умное по немецки – вот как умела зазубрить, на семьдесят лет вперед, да... а как его звали, этого... и того, кто его написал, – забыла, начисто, как жалко...) Жить, значит, стоит для этого. Что там жить – за это не жалко душу отдать дьяволу. Странно, что он не подумал: да, этот «аугенблик» прекрасен, ради него стоило жить. *Мне*. И ладушки. Тебе стоило. Вот только зачем других в свои дела впутывать? Не надо никого никуда звать – в стихах не то, что в жизни. Пишешь-то в стихах, а зовешь ими в дорогу за собой живых людей. А у людей все как у людей: возможности остановить хотя бы одно-единственное мгновение ни у кого на земле – нет, жизнь продолжается и продолжается – и в один прекрасный день и дураку станет ясно: новый город, пусть он лучше всех старых городов, все равно не лучше: люди в нем умирают точно так же, как во всех старых. Все множится на нуль. Так ради чего все это написано? Нет спора, города строить надо, а особенно квартиры планировать лучше и больше, чем у нее, хотя сколько ей нужно, комната аж 15 метров, ей и этого много, кухня за последний год куда-то совсем от нее отодвинулась, было бы меньше места в квартире, некуда было б ей отодвигаться... но при чем тут «Verweilen doch, Augenblick!»? Опять реникса.

Главный гений во всей премудрой Германии, а не понял простой вещи: сколько ни осушай болот, конец иглы надламывают, всего-навсего, и приходит *она*, и берет тебя за последнее живое, и все встает на свои места – Смерть стоит пред тобою, а ты перед ней, и это... ай-ай-ай, как это нехорошо! Только здесь, только теперь ты видишь все, как оно *на самом деле*. И ты понимаешь, Геля, Галя, ты понимаешь теперь: все, что было и чего не было в твоей жизни, но могло бы быть, если бы тебя родили Анной Павловой или Сарой Бернар, или Клеопатрой, – все-все жемчужины, и цветы и лавры, весь успех и пена всего шампанского, сколько его есть в мире, и даже исполненный тобой «Умирающий лебедь», и даже склонившийся перед тобою повелитель мира Цезарь – все-все это, вообще все – реникса, чушь, пустяк перед огромной, величиной во Вселенную, крокодиловой пастью с четырьмя рядами отборных, без единой пломбы, зубов, собирающей тебя сожрать. А те, кто не видит этой вечно голодной пасти всегда перед собой и всегда открытой... тех просто не клевал еще жареный петух, как говаривала после хорошей стопки «Московской» ее соседка по двору, домработница Понаровских Маша Телегина, покуда упомянутая ею птица не клюнула ее самое, и после очередной

⁵ Остановись, мгновение (нем.)

⁶ Продлись, побудь ещё – ты так прекрасно (подстрочник соответствующей немецкой фразы из «Фауста» Гёте)

стопки не хватил Машу, продолжая ее словами, кондратий, который и стал ей – повезло, что недолгим – провожатым на пути из шестиместной палаты клинической больницы в Шестой Тупик. В Ничто Никогда.

Подумать только, она совсем недавно и сама верила во всю эту ерундистику, и даже в строительство городов и запуски наперегонки в космос – несчастные люди, думающие, что космический скафандр отменит скафандр куда более надежный: гроб в могиле в матери-сырой земле. Галя Абрамовна даже выбрала число в этой заведомо проигрышной рулетке (правда, тогда она этого не знала, но сейчас не могла не вспомнить читанное и слышанное весьма часто по разным поводам за свои восемьдесят семь: «Незнание законов не освобождает от ответственности») и поставила на него. Это была – «слава». Желание славы – это и было той одной-единственной вещью, в которой она не была равна себе, тем, что нарушало покой ее самодостаточности. Правда, прославиться надлежало не ей, она все-таки не сошла с ума настолько, чтобы перестать трезво оценивать свои способности. Прославиться должна была Зара – и с собой взять в историю театра счастливую мать. Как Моцарт. Где ни помянут Моцарта – там непременно помянут и его отца, а помянут Гамлета – помянут даже *тень* его отца. Правда, Гамлета не было, но тот, кто его сочинил, сумел обессмертить даже *тень* отца того, кого не было, – вот какова сила искусства. Так она тогда думала, в первую очередь о Заре, а во вторую немножко и о себе – и отдала для начала Зару в драмкружок при Дворце пионеров. Зара всегда была послушной, исполнительницей девочкой. Она исполнила все, чего от нее ожидала мать, – начала учиться на артистку в драмкружке и закончила ГИТИСом. Но дальше... – Бог мой, сколько же ты испортила себе и Зарочке крови, когда выяснилось, что дальше вторых ролей в куйбышевском драмтеатре дочь не пойдет! Собственно, распределение домой, в Куйбышев, еще не было так уж плохо – звание академического провинциальному театру за здорово живешь не давали, из него вышли большие актеры, и Николай Симонов, и Толубеев, и многих и сейчас забирают то во Москву, то в Ленинград; но – вторые роли! И если бы по ее малой даровитости – нет же, ее сразу после прихода в труппу вводили на Нину Заречную... И хотя в дальнейшем Зара устроилась в Москве (собственно, и вторые роли, и ее отъезд диктовались одной причиной, обычной историей – романом с главрежем, разумеется, женатым на актрисе, разумеется, больной женщине, которую бросить он как порядочный человек, разумеется, не мог, но которой болезнь, разумеется, не помешала обратиться в партком театра с письменным заявлением), – но всего-навсего артисткой Москонцерта, каким-то чтецом-декламатором!.. Ее материнское честолюбие так и не могло примириться с этой несправедливостью до самой Зариной смерти. Артистка Москонцерта... сколько пролито слез, выпито сердечных капель – все из-за чего? Чтобы после просмотра спектакля, где Зарочка сверкала бы в главной роли, говорили: «Сегодня Иткина была в ударе» – или: «В своем роде она очень ничего. Но сам этот род не в моем вкусе», – а не то просто: «Что вы в ней нашли? Обыкновенная истеричка. Нет? Ну, хорошо, не совсем обычная. Истеричка со своим лицом». О да, ради такого – стоило жить и бороться. Стоило останавливать мгновенье.

Вздор. Никакое мгновение незачем останавливать: останови его – оно перестанет быть мгновеньем. Тогда, если оно тебе мило, – осточертеет. Если немилу – тем более незачем. Все вздор. И мгновение славы, и долгая слава – такая же реникса, потому что память... что вообще – память?

Слышишь? Живешь с мужчиной. По страстной любви. С кем не бывает. Проходит время – проходит страсть, вы расстаетесь. Житейское дело. Само собой, как в каждой серьезной, не недельной связи, в вашей была для тебя пара неприятных минут. Таких, о которых потом вспоминают, краснея. Связанных с *его* непозволительной грубостью, потребительским отношением к тебе, когда ты точно знаешь,

что ему нужно от тебя только тело, ты для него – живой кусок мяса, не более; с твоей излишней страстностью, когда ты, выйдя из-под своего же контроля, позволяешь себе и ему в отношении тебя – все, буквально все, ничего не стыдясь, а потом, вспоминая все звуки, которые ты издавала, и как вы с ним... и как он тебя... а ты... и говоришь себе, что теперь он перестанет не только тебя уважать, но решит, что ты нимфоманка из тех, с которыми обходятся не как с леди, а как со шлюхой – и так и будет с тобой себя вести. А если на тебе еще случайно оказалось несвежее белье... И что же? Часто ль вспоминаешь ты об этом лет десять спустя? Не дает ли покоя мысль, что *он* все помнит? Горят ли щеки оттого, что по земле ходит где-то человек, чья память, произвольно или случайно, в любую минуту воскресит тебя тогдашнюю и с тем вместе – о тебе – вещи самого непристойного, унижительного свойства? Да ничего подобного! Вот уж три ха-ха. Пусть себе вспоминает, если ему больше нечем заняться. Вспоминает-то он не *м е н я*, а то, что в его голове носит мое имя; что вы, в самом деле, целых десять лет прошло! О чем вы? Да и кто такой «он», скажите на милость? Где «он» бродит? Да «он» сам всего лишь имя в моей голове, точка на грифельной доске моей памяти. А вот возьму тряпку – и нет этой точки.

Да, *его* нет как нетушки в моем мире. А ведь *он* был со мной близок как только возможно. Мы сливались друг с другом. И вот после этого через каких-то пятнадцать лет и он сам, и все, что помнит он обо мне, – начисто перестает меня интересовать. Смех и горе! Что после этого сказать о славе, когда всякая твоя слава – это мысль, воспоминание, разговор о тебе – людей вообще тебе незнакомых (были бы знакомы – это бы называлось «признание в узком кругу»), попросту не существующих для тебя людей, то есть то, что *вообще не должно иметь для тебя ровным счетом никакого значения!* Ну скажите на милость, можно ли после этого представить себе что-либо глупее желания прижизненной славы?

Можно: желание славы посмертной.

Тут старуха, цепляемая, мучимая вне-мыслимыми, вне-словесными смыслами, на внесловесный же вопрос «можно ли представить глупее..?» – *у в и д е л а* внутри себя, в своем сердце, приведенный выше ответ – или нет, не внутри нее, но перед ней, нет, сразу и внутри и перед ней пред-стал, ей пред-стался и одновременно скользнул внутрь, одним быстрым уколом под лопатку, безо всяких слов отчетливый ответ, до того ясный, что она открыла рот с леденцом, прилипшим к языку, и так осталась сидеть, открыторотая, вперившись взглядом в зримое ей одной.

(К представшему ей видению, уколу-ответу, развернув его смысл, можно было бы дать сразу несколько разных, разбегающихся в стороны, но в равной степени верных словесно-мыслительных подстрочников. Впрочем, достаточно двух. Первый: «... желание славы посмертной, когда некому будет даже тешиться идефиксом, будто само количество несуществующих для тебя посторонних, уплотняясь в одно большое число, перерастает в иное качество, где не существующие для тебя порознь люди слипаются в один осязательно-осязаемый, сладкий и теплый ком некоего «благодарного человечества». И «всякая штука» вроде мечты о бессмертии своего дела или имени есть самообман, происходящий от невозможности живого представить как следует – свое *полное отсутствие* – ведь само *его* представление есть уже *присутствие*, – что ведет к обычной неправильной картине своей смерти: представляешь себя умершим, то есть никем, отсутствующим – и тем не менее видящим свою смерть, одновременно *полное ничто* – и мир без себя и продолжение своих дел, завещанных тобою живущим, или живую память о себе в людских сердцах. Это так просто, что мало до кого и доходит; люди продолжают умирать «за родину», «за идею», «за дело своей жизни» или хотя бы говорить о том, что они умрут за это, и вообще – «я и пожил, и был нужен на своем месте, и теперь

приму что мне на роду написано, как те, кто жил до меня; не всё же себе – уступи место другим, входящим в жизнь, пусть они поживут и продолжат мое, а я отдохну, наконец...», – бессознательно подразумевая: «... отдохну, *мертвый глядячи* на бесконечное течение жизни и без меня».

Второй подстрочник: все уместается в величину разницы между почти, казалось бы, синонимами – «все» и «каждый». Все люди – это же и значит «каждый человек». Но это только кажется. Пока жизнь сильна в тебе, ты представляешь свою смерть взглядом «всех», где потеря одного, пусть и «тебя», ничего не меняет в общем потоке жизни; но как только ты даже слегка, но живую – мертвую – чувствуешь пожатие командоровой десницы, – моментально меняется ракурс зрения, смотришь не взглядом «всех», но взглядом «каждого», одного из «каждых», именно же твоим и только твоим взглядом – и как тогда страшно меняется открывшаяся картина, и куда деваются «все»!)

Посмертная слава – вот вздор так уж вздор. Похлеще всех остальных...

Не она одна осознавала: Смерть – имя существительное и по праву требует серьезного отношения к себе. Были и другие, среди них великие; они куда раньше ее – разве ей с ними равняться? – совсем молодыми в упор, замороженно на **нее** глядели – и не могли оторваться. И что удумали? И пусть у гробового входа-та-ра-ра-ра-ра-ра играть, и равнодушная природа чего-то вечно сиять. Пушкин. Неправда, Пушкин. Не «пусть», ничего не «пусть»! (Не всегда и ты прав... или – сам себе зубы заговариваешь?.. Опомнись, о ком ты?.. Ты понимаешь, о ком? А что, разве и он не живой смертный человек, и разве я не живой смертный? Он уже умер, а я еще нет. Почему я должна соглашаться, если не согласна? Вот бы его, когда он умирал, спросить). Другой, не такой, но тоже великий, тот сказал лучше: «Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть». Вот именно, «не тем», совсем не тем. Заснуть навеки, но быть живым. Это выход из того положения дел, при котором бесконечная жизнь невозможна, да и не нужна – если она сейчас едва справляется с жизнью, то каково же будет ей и какова же будет она всего в какие-нибудь двести пятьдесят, – а смерть невозможно страшна. Да, именно так. Он был молод, совсем мальчик, но разумом не хром, и сказал то, что чувствовала и она в свои под девяносто. Если бы Галя Абрамовна была – поэт, она бы именно такие вот гениальные стихи и писала и так бы утешала себя... довольно долго, в отличие от гениального мальчика, который умел писать *такие* стихи, а жить не умел; долго-долго, пока маячила бы впереди большая жизнь с маленькой точкой в конце... да, а потом точка выросла бы у нее на глазах в пропасть без дна, а ее большая жизнь уменьшилась бы до маленького камушка-песчинки на самом краю этой пропасти – и тогда б она быстро сообразила, невзирая на дряхлость рассудка, как соображает сейчас, что заснет вот-вот, ее, песчинку, сдунет *туда* при малейшем дуновении ветерка, и заснет именно **т е м**, именно **х о л о д н ы м с н о м м о г и л ы**, и тут перестанешь шутки шутить, милая моя, тут...

Самоосуществление. Ха. Перед лицом Смерти. Три ха-ха. Так пятилетний ребенок борется с отцом, крича: «Я тебя заборол! Я сильнее!». Только вот Смерть – не любящий папа. Она не такая киса, чтобы, ласково шутя, ложиться на лопатки (уф, холодно; что-то не греет и пуховый платок).

А еще о чем говорят – о назначенье. Как это?.. о «нравственном долге». Однако она вроде бы никогда ни у кого не одалживалась. Разве что должна была матери – так она по-человечески с ней и расплатилась, содержа ее десятки лет до самой смерти и затем похоронив честь по чести. Может быть, задолжала Алексею Дмитриевичу – да, так; за неверность ничем, никакими деньгами не расплатишься. Разве многолетним чувством вины, если это имеет хоть какое-то отношение к отдаче долга... Но – кому еще? Жизни – за то, что она вообще родилась? Так она

же и платит жизнью, и совсем скоро выплатит все до копейки. Что – до копейки? Если учесть, что вместе с жизнью ей дали в придачу неотъемлемые от жизни страдания, можно сказать, что свой долг она возвращает с процентами. Но смысла выйти из ничего вначале, чтобы стать в конце Ничем Навсегда, смысла в том, чтобы, выполняя свое назначение, вылечить и наставить зубов людям, которые уже стали Ничем, и чтобы на эти деньги содержать семью, которая давно стала Ничем, по-прежнему не видно.. Другого же назначения ей не дали – по крайней мере, она за собой никакого более высокого призвания не числила никогда, без дураков.

Зачем? Зачем? Зачем?

Но человек – издеваясь, говорят эти уколы и крючья, – человек еще в долгу и перед будущим. Но чем этот будущий так уж лучше тебя сегодняшней, что ты должна, живя, все время думать о нем, а не о себе? И потом, если конечного получателя у этой эстафеты нет, все так и живут ради следующего – то кому и зачем мы, я и все, отдаем? Нет ответа. А если он есть, этот конечный получатель, которому уже не надо отдавать, а только тратить все, полученное от сорока сороков пред-идущих, – то сможет ли он столько потратить? На что ему столько? Не спать же на сундуке с накопленным добром, как мама ее Софья Иосифовна. Да, куда он все это денет? Как всем этим распорядится?

Немыслимо. Лучше уж каждому приобретать и тратить свое, чем доверить все невесте кому... и уж во всяком случае не может эта ничем не гарантированная, неизвестно кому (вдруг он будет глуп, эгоистичен, недобр?) адресованная передача из рук в руки стать целью моей единожды данной жизни. Да. Но если опять вернуться к себе, и только – тут ты уже знаешь, тут все более разумно, но не более. Что в лоб, что по лбу – опять и опять реникса. Дичь.

Зачем? Зачем?

А вот, вот оно; незачем и воспарять высоко и далеко. Вот рубашка, что ближе к телу: бессмертие в детях. Это женское – родить. И мужское: чтобы мальчика. Да, против голоса крови – что скажешь? Она вот тоже, как и все, хотела – и родила; и та, которую она родила, умерла. Ну и вот что она скажет. Кровь, переливающаяся из жил в жилы, не вода. Это так. Но *верить* в это переливание крови как в высшую веру – могут только те, кому не довелось, как ей, пережить собственного ребенка да еще и увидеть его кончину. На этом все кончается, все, всякие представления, что завтра будет лучше, чем сегодня, что твой ребенок увидит это светлое завтра, а его ребенок – светлейшее послезавтра, и тэдэ – и все это светлое так и будет нести тебя, твою кровь, в себе, будет твоим продолжением...

Вот что знает она, она много на себя не берет, но вот что она знает точно: родить человека – значит обречь его на неминуемую смерть. Родить существо, обрекая его тем самым на полное уничтожение, – жестоко. Бессовестно и бессердечно.

Бессмертие в детях! Три ха-ха. Эстафета. Эстафета смертей! Да и та-то... Ведь вот она, Галя Абрамовна, сидит сейчас в кресле, черном дубовом кресле с высокой резной спинкой, с когда-то коричневыми, а теперь вытертыми почти добела сиденьем и подлокотниками, в отцовском кресле; сидит и вмещает в себя весь свой род, происходящий от одного из двенадцати колен Израилевых, верить в это, нет ли, как она не слишком верила, – но уж наверняка очень древний, сотни-сотни-сотни лет. Чего ради старались они, среди которых были наверняка более, куда более ее заслуживающие уважения? Ради того, чтобы на свет появилась она, Геля. Что ж, она и появилась на свет. Она и стала конечным получателем, родив ребенка, который уже никого не родит, как и она сама. Ну и как она распорядится полученным – и прежде всего кровью, текущей в ее жилах? А вот как – в ней свернется кровь рода. Она родилась, чтобы покончить со всеми предками,

жившими ради нее. Она не виновата, что ей придется прекратить своей кончиной течение десятков судеб, сотен и сотен лет, но факт: умерев, она прихлопнет их всех.

Так ради чего были они все? А ради ничего.

А что от них останется? Да ничто. Ничто Навсегда.

Смерть – есть. Но уводит она туда, где ничего нет. В ни-что. Это не минус. Минус – это уже что-то. Ничто же – нуль. Абсолютный нуль. А все, что множится на нуль, каким бы большим и великим оно ни казалось, есть тот же нуль.

Галя, Геля, и ты, дуручка, и каждый, кто стоит сейчас или только еще будет – но обязательно будет! – стоять перед жутким лицом Смерти, все вы всего-навсего падальцы, червивые перезревшие яблочки, и никому-никому-никому не интересно знать, какими налитыми золотом, какими сладко живыми были вы когда-то...

И теперь, когда ей открылось ясно-зримо такое простое, что уже почти можно было думать словами: в земной, временной жизни нет и не может быть ничего такого, что *само по себе* было бы вечной ценностью, действительной целью, служило подлинным утешеньем, – теперь старуха могла бы, если бы хватило ума и сил осознать и пережить, только подивиться хитроумному устройству своего естества. Аппарата, до поры до времени не принимающего сигналов того, что *на самом деле*. Ведь только поэтому становится возможным исполнение самой долгой, самой трудной работы: дожить до смерти. Да и когда знание входит в человека – старуха, кажется, по крайней мере, отчасти осознавала это, – оно входит не сразу, не целиком, не полнотой страха, а дозированно, появляясь и исчезая, чтобы душа поглощала его более или менее удобоваримо. Она понимала, что надо благодарить столь мудрое устройство, давшее ей прожить почти девяносто лет, подожди, сейчас... возьмем бумагу, подожди, столбиком, столбиком, подожди, не путай... почти 30 тысяч дней, что-то около 720 тысяч часов, более... 700 тысяч минут, ну и значит 240 миллионов – миллионов, это ж надо! – миллионов секунд без того изнурительного, хронического ужаса и безнадежности, одолевающих больного, которому сообщили, что болезнь его смертельна. А ведь каждый и есть смертельно больной от рождения, уведомленный об этом; и что же? – да ничего, живет себе и радуется. Или не радуется – но не по указанной выше серьезной причине, а оттого, например, что его зазноба глядит в другую сторону, или завотделением вызвал его и снял с него стружку по жалобе больного.

Да, это придумано и устроено на славу; но почему-то благодарности в ней не вызывало – ей мешало скверное ощущение, что ее провели за нос. Где-то в милосердии этом таился подвох, какое-то в этой заботе о ней чудилось «якобы»... да, вот, вот – зачем вообще все это затевать? Рожать людей всего на восемьдесят семь лет, а то и меньше, и всю дорогу заботливо играть с ними в серьезные радость и печаль, чтоб под конец – поиздеваться всласть? Да, вот сейчас, нынче, теперь, когда она вычерпала всю положенную ей порцию радости и горя и думала, что прожила серьезную, в общем, человеческую жизнь – тут-то до ее сведения более чем доходчиво доводят, что нет никаких серьезных и достойных жизней, как нет и несерьезных и недостойных, а всякая жизнь, достойная они или там какая, всего-навсего стремится к Смерти, и всякой жизни, хорошая она или плохая, – что не значит равным счетом ничего – это всегда не мытьем, так катаньем удаётся умереть. Потому что очередной глоток жизни это очередной глоток Смерти; стало быть, в итоге жизнь и есть смерть.

Да-да, так, именно так. Да-да. Прожила жизнь, а умирать не умираешь. И теперь точно знаешь, что и не хочешь. У Смерти такие белые зубы; такие большие зубы; такие крепкие зубы – протезы ей ни к чему. Скольких она уже... а теперь твоя очередь – прими как должное. Не хочу-не хочу-не хочу. Значит – что? Значит, хочешь жить? Нет: не хочу умереть. Да, но не умереть это – жить. Пусть. Пусть

так, раз по-другому не умереть нельзя. Но – смысла нет, сама же видишь – согласна? Ну и не надо его. Без него поживу. Так, чтобы только – не умереть.

Так теперь она и жила: чтобы не умереть. Почти безногая, полуслепая, утратившая цветовое восприятие тех расплывчатых пятен окружающего, которые еще были доступны ее зрению, наделенная только черно-белой оптикой, свойственной, как считают, быкам и собакам, с конечностями, эпидерма которых от медлительного кровоснабжения (подумать только, каких-нибудь пятнадцать лет назад она жить не могла без педикюра, к ней приходила на дом за приличные деньги мозолистка, срезавшая ороговевшую кожу с пяток, после чего ноги могли, наконец, дышать), старуха жила, оказываясь способной сразу к двум формам чувствования: обонянию и вкусу. И она ела; она ела, хотя нужно ей было очень немного.

Она ела, чтобы чем-то наполнить свою жизнь. Чтобы убить время. Не потому, что ей было скучно – старческое угасание почти свело на нет ее притязания на утеху и развлечения, – но чтобы заглушить страх Смерти. Самое загадочное, противоречивое в ее теперешнем существовании было то, что, панически боясь следующего, может быть, окончательного прихода **ее** и с тем вместе окончательного уничтожения ресурса времени, еще у Гали Абрамовны имевшегося, она тем не менее вынуждена была сама убивать свое остаточное время, ускоряя его полное расходование, так как медленное и не заполненное ничем его течение было непереносимо – именно из-за наполняющего до краев опустевшее время смертного страха.

После того ночного, ознакомительного визита Смерти страх постоянно жил в ней – как постоянно ноющий зуб, мешающий жить, спать, думать, но не властный совсем, без остатка, прекратить процессы сна и мышления. Изумительная сила всех без исключения жизненных процессов делала даже распад, самое угасание жизни настолько живуче-сильным, что слабое, хотя и постоянное напряжение страха не могло помешать старухе ненадолго отключиться и задремать в любую минуту.

Но стоило **ей** пожелать напомнить о себе, стоило нажать кнопку – и сильнейший страх сотрясал ее позвоночник, сотрясавший в свою очередь то, что на нем держалось – всю ее. Это было что-то вроде пытки электротоком, как старуха представляла ее себе по газетам, описывающим происходившее в Чили. И так как миг очередной вспышки страха был непредсказуем, как миг очередного припадка у эпилептика – доподлинно известно только, что припадок непременно придет снова, – она боялась теперь страха Смерти больше **ее** самой и делала все, что в ее власти, чтобы отвлечься от мучительно-навязчивой боязни страха.

Галя Абрамовна извлекала на свет божий все свои припасы: немного сливочного масла, приносимого Лилей последнее время все реже, – почему? – колечко докторской колбасы, банки и судки с изделиями домашнего стола, так удававшимися Лиле: желтый, наваристый куриный бульон с клецками, от которых бульон мутнел, однако же и вкуснел, пару прелестных, с чесноком и перчиком, котлеток или десятка полтора уже сваренных и начинавших слегка расплзаться пельмешков; а в иные дни Лиля баловала старуху теми яствами смешанной русско-еврейской кухни, которые говорят о празднике в доме: паштетом из говяжьей печенки с горкой золотистых шкварок наверху, тертой редькой, заправленной гусиным салом, пирогами с капустой, ливером, зеленым луком с яйцами, фаршированной рыбой-«фиш» со свекольным хреном, холодцом из коровьей ноги или моталыги, домашней бужениной, судаком под красным маринадом или судаком по-польски, политым растопленным маслом с крошеными яйцами – всем, чем умела Лиля радовать ее алчущее небо, ласкать трепещущие ноздри и отягощать старушечий желудок. Галя Абрамовна, давно понявшая простой, но важный секрет вкусного стола, раскладывала содержимое по многим тарелочкам и уставляла ими весь

стол; затем наполняла графин – в последнее время в него стало крайне трудно попадать, не пролив, но она старалась – компотом из куряги (так, что-то среднее между «я» и «и», всегда произносили все в Куйбышеве, слыша постоянно на рынке, как произносят слово «курага» сами узбеки: Куйбышев был самым большим железнодорожным пунктом между Ташкентом и Москвой, и на рынке здесь оседали прежде всего нацмены из Средней Азии, а не с Кавказа) и чернослива или клюквенным морсом, тоже Лилиного изготовления, и водружала мерцающий, прозрачно-красный или желтый (увы, лишь по памяти) конус в центр стола. За годы жизни с Алексеем Дмитриевичем, который просто не сел бы обедать, если бы за столом не ждал его графинчик старки или перцовки, хотя больше одной-двух рюмок, как тогда почти все приличные люди (вот же привязалось воспоминанье, и с ним снова: ай да Витенька – и это тот ребенок, которого она таки научила повязывать кашне!), Галя Абрамовна привыкла к определенной картине полного, настоящего обеда.

Полуслепая старуха не могла уже насладиться бархатистым коричневато-серым тоном горки паштета, в центре которого отливало золотом жареного лука и шкварок, или нежнейшей мутно-белесой поверхностью хорошо застывшего студня; но с тем большей силой пьянили, кружа ей голову, грубые чудесные ароматы чеснока и хрена, и нежное веяние укропа от малосольного огурчика, сладко-горький запах слегка, правильно подгоревшей капустной корочки голубца, горьковато-терпкий запах печенки и дивное благоухание корицы в еще теплой Лилиной выпечке.

Поняв еще в молодости серьезный смысл материального благополучия, состоящий в его способности оградить от опасностей и тревог, создать устойчивое поле независимости, душевного равновесия и комфорта, Галя Абрамовна, не будучи уже в состоянии окружить себя ворохом вещей, грудой безделушек (а было же, право, было и у нее некогда кое-что, какие-то меха, какие-то даже драгоценности), обносила себя теперь взамен частокором съедобностей, разумеется, менее долговечных, нежели золото и хрусталь, но столь же надежных в том отношении, что, мертвые, не имеющие свободной воли, они не грозили предать, подвести – обратиться против тебя.

Она всегда, пока была в силах, следила за собой, своим весом и фигурой, и с тех пор по сей день привыкла думать, что ест очень немного; так человек, некогда обладавший пышной шевелюрой, все продолжает, кроме разве что утреннего взгляда в зеркало, представлять себя с нею, даже когда окончательно облысеет. Не имея четкого представления о собственном зрительном образе, что характерно для большинства людей, за исключением тех, для кого постоянно смотреться в зеркало – профессия или удовольствие, человек чаще всего представляет себя таким, каким когда-то запомнился себе, однажды придясь себе по душе, не любящей расставаться с представлениями, ей дорогими. Так и старуха представляла теперь, что не ест, а так, поклевывает; на самом же деле она сейчас ела за взрослого здорового мужчину, а когда ее небольшой от рождения и не раздавшийся за предыдущую умеренную жизнь желудок отказывался вместить много сразу, она возмещала это тем, что ела пять-шесть раз на дню понемногу. Однако продолжала думать, что ест мало, не только потому, что противоположная точка зрения была бы для нее оскорбительна, но потому еще, что, впадая в склеротическое рассеяние, могла продолжать есть, сама того не замечая, и искренне удивляясь потом, куда это подевалась вся та вкуснятина, изобилие которой еще нынешним утром давало ей радость предвкушения неоднократных наслаждений.

Все же поглощение пищи не могло наполнить целиком даже ее уменьшенного, усохшего существования. Слишком уж много времени в праздных сутках, особенно если они беззвучны и тем безразмерны; и снова, снова слышала старуха шум дождя и разрывы грома в ясный солнечный день, и голуби, садившиеся на ее

подоконник, гулили тихой, дальней, страшной пулеметной очередью за Самаркой... И слышала она еще, как смолк и пулемет, и гром, и шум дождя, и в наступившей вдруг полной тишине встряхиваются, осыпаясь, отмершие частицы ее пустой жизни; и вновь утверждалась она в новом знании, данном ей теперь: жизнь ее и есть только движение в Ничто Навсегда, представляющее собой крайне тяжелое, почти непереносимое бремя для человека, лишённого, подобно ей, возможности обмануть себя, залить душу вином, забить ее работой, заполнить всякими «интересами», половой или родительской любовью – и обреченному тем самым видеть жизнь как она есть, жизнь-Смерть, безотрывно глядя в ее бессмысленное и безобразное лицо – бессмысленное лицо жизни, чреватое проступившим сквозь него безобразным лицом Смерти.

И старуха, видя совершенно ясно, каким милосердным избавлением от унижительной бессмыслицы, беспросветных тягот и безнадежных мучений старости явился бы для нее окончательный приход **ее**, казалась бы, столь желанный, рождал вместо радости этот неистовый страх, который и страхом-то может быть назван только убогости языка человеческого ради? Почему человек, стоящий у черты, за которой исчезнут все его горести (и никаких радостей вместе с ними – радостей не осталось, жалеть совершенно не о чем), и занесший над ней ногу (сказать ли лучше – которого *тянут* за ногу), чувствует вместо радости освобождения: словно столбняк сковал – и вот уже чей-то быстрый нож вспарывает горло под кадыком над межключичной ямкой, и – лезет кто-то схватить тот натуго натянутый шнур, на который нанизано твое тело, тонкий провод, по которому течет ток твоей души, твое дых-аани-е; и хватает его и, затянув, дергает на себя через взрезанное горло, и ты бьешься в удушье, как рыба на кукане, хлюпаешь ртом, и – тошнит...

Этот столбняк, судорога, холод внизу живота, горло, прорезанное силащейся выбиться из него немотой... что это? почему это?

Боязнь взрыва всего, составляющего «я». Ее со-става. Внутри нее, никому, кроме нее, не слышны, во всю громкость включенной радиоточки по-прежнему вопят, визжат, жалуясь ей, тонкие голоски миллиардов ее же клеток, все это время с момента посещения их **ею** не переставая метаться и стенать от невыносимости разъединения всех со всеми – насовсем. Это ясно. Животный инстинкт самосохранения. Но есть, явно есть в этом страхе и еще что-то; что-то не столь ясное... совсем не ясное, невразумительное и все же – отчетливое...

Чувство, будто уходишь в Ничто Навсегда, кончаешься без остатка, а там, внутри Ничего, там тебя, исчезнувшего без остатка, то есть Никого – уведут, чтобы отправить в путь. Тебя вот-вот не будет совсем, это точно, считай, тебя уже нет, но этого Никого, кем «ты» станешь, считай, уже стал, уведут, уже ведут в путешествие по чему-то темному, огромному и бесстрастно волнующемуся, подобно ночному морю. Да, там, внутри Ничего или за Ничем – есть что-то еще. И слышишь шум в ушах своих, и день ото дня все громче этот шум, пока не понимаешь: то не шум твоей крови, которой уже нечем шуметь, а именно рокот волн, по которым вот-вот – и ты, которой не будет, ты-не-ты – Никто – тронется в плавание. И хотя ты, пока ты еще здесь, знаешь, что *там* ничего, ровно ничего нет, что загробная жизнь – еще большая реникса, чем все остальные, но чувствую, что *там* тебя ждут, и ждут не только тебя-Никого, но и **ч е г о - т о** *от тебя-не-тебя-Никого* – это чувство, это достоверное, как тошнота, осязание невозможной – как может быть что-то внутри полного Ничто? – но вполне реальной, одушевленной, стерегущей, невероятно большой живой стихии не покидает тебя, пока ты – еще ты, еще по эту сторону Ничего. Оно может быть **большим** или **меньшим**, но оно всегда даже не рядом с тобой, а в тебе, твоём страхе, это чувство живого моря внутри полного отсутствия чего-то живого и чего-то вообще. Нельзя объяснить это невозможное

чувство живого внутри мертвого, жизни-в-Смерти никому, кто его сам не знает, любое слово здесь будет косноязычным, но оно, это чувство... оно должно быть, должно *было быть* знакомо кому-то из тех, кто стоял на пороге смерти – и особенно тем, кто переступил этот порог.

И так оно и было. Наверняка. Она вспомнила лицо Алексея Дмитриевича, разбитого насмерть ударом в Новокуйбышевске, в гостях у Лизы, его дочери от первого брака. Как и Зара, он умирал не дома, на сей раз, правда, с перевозкой тела обошлось почти без хлопот. Один из ее пациентов, замдиректора автобазой, добрый человек, послал грузовик, до Новокуйбышевска, слава богу, всего 35 километров... Он лежал с застенчивой полуулыбкой, которую она прекрасно знала; но видела ее и в те минуты, когда ею он прикрывал страх. Это была его *вторая*, защитная улыбка, улыбка мальчика-гимназиста (которым он по существу всегда и оставался) в угрожающей ситуации, по виду ничем не отличавшаяся от первой, но она – она всегда безошибочно различала одну от другой. Так он улыбался – она запомнила на всю жизнь и спросонок, – когда в 38-м под утро, как это у *них* повелось, позвонили в дверь. Он улыбался, одеваясь, чтобы пойти открыть. Они оба были уверены, что пришли за ним. Был март. Было холодно. Слабо светил ночник. И когда он вернулся назад с той же все Лизой, ехавшей к ним сюрпризом из Чимкента, где она тогда жила, и в Оренбурге отставшей от поезда – так что сюрприз она приготовила не только им, но и себе, – тогда с лица его прямо на ходу сошла улыбка, он стал так же защитно, чтобы не поняли, что с ним, сердит, что означало великое облегчение. И именно эта, вторая, защитная улыбка покойного – она могла бы поклясться – чуть топорщила кончики лучших в мире усов; и еще она могла поклясться – она чувствовала его, мертвого, сильнее, чем живого, буквально как самое себя, – если приподнять его закрытые дочерью веки, в серых глазах его она увидела бы тогда тот же, что у нее сейчас, ожидающий чего-то впереди, за уводящей его Смертью, страх. Ее так и подмывало тогда, сквозь душившие ее слезы, оттянуть ему веки; и сейчас она укоряла себя за то, что не осмелилась это сделать при всех – а наедине с ним ее так тогда и не оставили.

Да, а Марк с трехдневными его мучениями, дикой болью в сердце, удушьем и кислородной подушкой; и как на второй день он уже ушел, но ему ввели камфару прямо в сердце, и он вернулся, чтобы сказать: «Зачем меня вытащили? Там было так хорошо», – и пытался объяснить, но ничего не получалось, как именно было там, – а на третий день к вечеру, как раз когда боль немного утихла и начинали подумывать, что он таки переживет и четвертый инфаркт, он вдруг выдернул изо рта рожок кислородной подушки, как-то даже не крикнув, а булькнув: «Не могу больше», – и мгновенно ушел в Ничто Навсегда. Фактически это было самоубийство, она знала, она была уже совсем стара, но Софы уже не было, и детей у них с Марком не было, а из родных и друзей осталась она одна, родственница и подруга, кто-то близкий же должен был хоть немного побыть с ним... чтобы разделить? – нет, чтобы утешить? – нет, ну, чтобы... – и так ясно, и, как и накануне, Лиля вызвала ей такси, она снова поехала в больницу, ненадолго, надолго не было сил – и тут как раз все и произошло, при ней; и Галя Абрамовна, никогда не понимавшая психологию самоубийц, впервые поняла, как и почему человек может покончить с собой: из страха. Почти ослепшая, она не видела его глаз, глухая, она не слышала его «больше не могу» (потом сестричка ей передала, как и накануне, его слова в письменном виде), – но жест, которым он выдернул из рта кислород...нет, жест, которым он выдернул себя из жизни... его невероятная скоротечность – только косая тень с быстротой юркающей за плинтус мыши махнула по ее глазам, а он уже ушел насовсем – этот жест сказал ей все: Марк видел Смерть и не мог долго смотреть на нее. Он не смог перенести полноты ухода в Ничто Никогда и решил сократить уход.

Впрочем, бывали на ее памяти и случаи, когда боль оказывалась еще сильнее страха. Ее дальний родственник в Кишиневе, мужчина лет сорока пяти, здоровяк: семьянин, трезвенник, ударился, не так сильно, об угол своей машины, когда полез что-то в ней чинить. Саркома бедра; сгорел в три недели. Последние несколько дней, не переставая, просил уколоть его чем-нибудь, что мгновенно убивает, или просто ввести воздух в вену; морфий не помогал.

Как тяжело, как невыносимо тяжело умирают! Она вспомнила Софью Ильиничну, скончавшуюся от водянки, и другую свою приятельницу, уведенную в могилу склерозом почек. Рак легких, желудка, толстого и тонкого кишечника, вообще всего, из чего только состоит человек, включая рак крови, кожи, губы, языка, горла, лимфы, спинного мозга, цирроз печени, паралич, грудная жаба, острая сердечная недостаточность, заражение крови, тромбоз, перитонит, туберкулез, гангрена, недавние вспышки, казалось бы, уничтоженной холеры, тиф, дизентерия, дистрофия... (тут Галя Абрамовна спохватилась, что память опять предала ее, и она, как повелось с какого-то неладного Augenblick'a, перепутала времена и бродит по дорогам какой-то из бывших у нее на памяти войн, двух мировых и одной гражданской, а может, ее крутит по свернутым в единый жгут дорогам всех трех сразу. Она сделала усилие, чтобы вернуться, съехаться из многих времен в одно; на этот раз ей повезло, она вернулась к людям, умершим уже в нынешнее время).

Всех, всех их Смерть уводила в ужасе смятенной души и телесных муках. И все они были в сознании, достаточном, чтобы... Все, кроме двоих: ее матери Софьи Иосифовны и ее дочери Зары.

Да, вот она жизнь, «*безмерно любимая тобою*». Жизнь-то и в самом деле вечна, она везде и всюду, и только она, другого ничего – **нет**, всё другое – в Ничто Никогда, о котором нечего и сказать живому, да только её доченьки Зарочки, столь безмерно любившей Жизнь, – что-то не видать нигде, её, Зарочкина, жизнь оказалась лишь временно прописанной в вечной, большой Жизни. Нет её и не будет – как и не было; и так оно и будет со всеми, что их не будет. На памятнике надпись – не перевыбить, и не надо – но какое после этого нам, временным, дело до вечной Жизни?

Зара, голубка, умерла в беспамятстве, не ведая страха. Клещ укусил ее то ли на Сахалине, то ли на Камчатке, но свалилась она по-настоящему, так поняла и она, и все – это не простуда, не грипп даже – какое-то проигранное время спустя. Так или иначе, Гале Абрамовне дали знать, когда Зарочка, чем уж там ее доставляли, вертолетом или самолетом, очутилась в лучшей – все-таки московская гостья: артистка – больнице в тамошних местах, во Владивостоке. 41°. При 41° не до страха. Галя Абрамовна летела самолетом бог весть сколько часов, минут; они садились на дозаправку, потом опять летели. Кажется, один раз пересаживались, она не помнила точно; если бы ее не выворачивало наизнанку всю дорогу, так что было ни до чего, она бы не пережила столь долгого ожидания. Она везла с собой двадцать тысяч тогдашних, старых рублей, все свои сбережения – она не была так бережлива, как ее мать, и скопила не так уж много в наличных деньгах; но все равно это были немалые деньги по тем временам – и все до копейки ушли на лучших тамошних врачей, на их звонки в Москву разным светилам, лекарства, уход... А Зара провалялась в бреду две недели и еще два дня, на третий у нее отнялись конечности, а на пятый ее увели в Ничто Навсегда.

И ни разу не пришла в себя. Две с половиной недели мать смотрела на нее, часами; а она так ни разу и не узнала мать! Галя Абрамовна думала, что сойдет с ума, она ничего уже не понимала и не видела, а слышала только, как механизм ее мозга перемалывает собственную пустоту внутри черепной коробки – но пустота оказалось неполной, там что-то нашлось, потому что там вдруг хрустнуло, видимо, сломалось что-то, потому что она вдруг перестала слышать – совсем, и с тех пор

по сей день больше уже ничего не слышала. Но то, что теперь она глуха, совсем, окончательно и бесповоротно, Галя Абрамовна осознала только на обратном пути в Куйбышев, а тогда, во Владивостоке, сделала без колебаний то, что решила уже давно в отношении себя самой: распорядилась кремировать доченькино тело, лично досмотрела, чтобы не перепутали прах, – это, она знала, водилось сплошь и рядом – и повезла урну с пеплом домой, в поезде. Это было долго-долго, так долго, что... но если бы не поездом... если бы самолет разбился, Зару вообще не удалось бы похоронить. Галя Абрамовна всегда решительно высказывалась за кремацию; недаром в свое время она считалась одной из первых красавиц Самары и даже каталась на тройке с самим Собиновым – мысль о разложении прекрасного женского тела, о пустоглазом голом и безносом черепе на месте покрытых нежным пушком розовых щек и точеного породистого носа внушала ей отвращение. Она никогда не говорила об этом с дочерью, но была более чем уверена: Зара с ее наследственной чистоплотностью и простодушной любовью к себе – не самовлюбленностью, нет, а вот именно с нежным, любовным отношением к данным ей от природы телу и душе – никогда не допустила бы, если б могла, чтобы ее положили в сырую грязь (ведь земля, сама мать сыра земля – это же и есть грязь) и скормили гадким, влажно-розовым червям.

Урну поставили на носилки, понесли в Шестой Тупик, место всех трех городских захоронений: русского, еврейского и татарского, – она, молодая чета Понаровских (спекулянта Вити тогда еще на свете не было), Марк и Софа, и все, кто знал и любил (и даже несколько человек из драмтеатра, из тех, кто знал и *не* любил) Зарочку, и даже Михаил Александрович, популярнейший тенор, которого знала вся страна – да, сам Александрович прилетел из Москвы и стоял сейчас здесь, в Шестом Тупике города Куйбышева, с траурным венком, увитым гладиолусами, и надписью «Зарочке, моему незабвенному тещу-декламатору, от Михаила Александровича», да! (И что это он позже, то ли пятнадцать, то ли двадцать лет спустя, надумал махнуть в Израиль, в пески, к этим кровожадным сионистам, ни за что ни про что убивающим и сажающим в тюрьмы пусть темных, но повинных только в том, что они желают жить на своей земле, несчастных палестинцев, этих бедных феллахов и бедуинов? Что он потерял в этих песках, когда имел тьму поклонников у себя на родине, во всех уголках огромной страны? Да, насколько люди разные – ее знали только друзья и пациенты, но ей никогда в голову бы не пришло, что бы там ни было, покинуть родные места.) Поговаривали, между ним и Зарой что-то было. Конечно, когда знаменитый мужчина и красивая женщина гастролируют по всей стране – он пел, она вела концерт, конферировала и читала стихи о любви, – о них всегда будут поговаривать, и скорее всего попадут в точку, но и – что с того? Он действительно знаменит, прекрасный тенор, а она действительно хороша собой и обаятельна, всегда искрится – ничего нет ни удивительного, ни зазорного в том, что жизнь берет свое... Ах, было ли, нет ли – какая нынче разница, когда от человека осталась пригоршня праха, и прах, пустой серый пепел от всей ее доченьки, стучит в урнину сердце.

Она стояла молча, оцепенело теряя драгоценные секунды, пока еще урну, Зару, не забросали землей, – это место было куплено загодя на всю семью, кроме Алексея Дмитриевича, его похоронили в ста шагах отсюда, на соседнем русском кладбище, – пока еще можно было проститься, еще можно... А слез все не было и не было, все выплакалось еще там, еще тогда, у постели умирающей, – и ни звука вокруг, только солнце пекло голову сквозь черный платок, и все время хотелось пить. Галя Абрамовна представляла, как придет домой и достанет из подпола кувшин холодного кваса, не помня, что дома кваса давно уже нет, – ей было не до кваса, да и маме тоже, к тому же мама уже несколько дней не вставала, ее разбил тяжелейший радикулит, даже с Зарочкой, тем, что осталось от внученьки,

она, не в силах встать и ехать на кладбище, смогла попрощаться только дома. Гале Абрамовне хотелось пить, не терпелось домой, как ни мучительно стыдно было за свое чудовищное бесчувствие...

Да, Зара не узнала страха. И боли. Счастливая, она умерла в беспамятстве и бреде. Счастливая. А мама? Мама умерла во сне: просто остановилось сердце... Ей было девяносто один, а когда-нибудь сердце должно же остановиться. Умерла во сне, и уже не догонишь по пути в Ничто Никогда, уже не спросишь, что испытала она в последний момент остановки сердца.

Но вряд ли... вряд ли это так безболезненно, как полагают те, кто чаёт именно такой смерти. Кого ни спроси – заветная мечта умереть во сне; ну и глупо. Когда-то давно у нее был кардионевроз (потом он исчез, словно канул куда-то – один из тех случаев, когда болезнь приходит и уходит сама; если бы Галя Абрамовна задумалась тогда над этим, это дало бы ей случай задуматься и еще над многим; но она пропустила этот случай); и часто снился ей тогда один и тот же сон: катится, катится куда-то все, и она катится вместе со всем, а сердце-то и не поспевает, и вот-вот остановится, запыхавшись... и страшно-то как, и надо проснуться, чтобы все оказалось сном, ведь это только сон, доходило до нее и во сне. И усилием воли просыпалась, словно вытаскивая себя из сна, и сердце билось нормально, а то, запыхавшееся, сердце оставалось во сне, сброшенном с плеч... Да, а ну как на этот раз – не проснешься? Дернешься-подернешься, а себя не выдернешь. И уйдешь во сне в настоящее Ничто Никогда, в смертной судороге, душа на выкате. Мама родная. Так ли было? Кто знает; ничего не разберешь на этом свете.

Ей по-прежнему казалось, что Смерть не любит повторений, и ей не грозит смерть во сне, как ее матери, хотя она шла по стопам матери в том смысле, что дожила почти до ее лет. Все же вряд ли ей грозит умереть во сне, тем более, что она настороже и сосет леденец; хотя – что это значит? Только то, что она умрет, бодрствуя. Или в коме.

Да уж, кому суждено быть повешенным, тот не утонет; Смерть – одна, но смертей – много. И все они так безобразны! Почти все. Кроме тихой смерти Антона Павловича, да, и как хорошо, как спокойно он сказал: «Ихь штербе», – выпил бокал шампанского, сказал: «Я умираю», – повернулся к стенке и умер, как уснул. Ни крика, ни стоны, ни даже затрудненного дыхания. Но это единственный случай, единственный, других она не помнит. Все остальные – безобразны. Нет ни одной мало-мальски приличной. Ни од-ной.

Хорошо еще, что судьбой лишена она нынче случая попасть под поезд или упасть с лестницы. Скажешь тут спасибо старости и немощи. Если так страшна естественная смерть в преклонном возрасте в своей постели, что тогда сказать о той глупейшей возможности, когда, скажем, падает тебе на голову метров с тридцати предмет весом в несколько кило? Такой случай произошел однажды у нее на глазах, и не где-нибудь – в Москве, да еще на самой улице Горького. Году в... или еще был старый рубль?.. словом, когда она еще ездила к Зарочке в гости. С крыши большого дома, где магазин «Подарки», до Кремля рукой подать, в конце марта это было, точно, слетела огромная подтаявшая сосулька, угодив прямо острием в голову гражданина в фетровой шляпе... и бежевом пальто-реглан. Он свалился не пикнув. Посмотрела бы она, кто пикнул бы на его месте.

Нет и нет. Всякое там «умереть внезапно, чтобы не мучиться», все это разговоры. И вообще хотеть сразу всего, и невинность соблюсти, и капитал приобрести, и дожить до старости, и умереть внезапно – это больно жирно будет. Что-нибудь одно. И потом, как так: прожить долгую серьезную жизнь, как следует попробовать на зуб все ее возрасты и фазы одну за другой – и не прочувствовать самой последней и серьезной. Да, и страшной, страшной, но ведь – главной: разве не главное то, что навсегда или никогда? Другой такой возможности не будет: не

только живут, но и умирают один раз. Единственная смерть – часть единожды данной жизни. Ее надо ценить как уникальный подарок природы. Если бы тебя не родили, ты не знал бы, что такое умереть. Это же курам на смех. Умирать – так в сознании. Все же она не корова какая-нибудь на мясокомбинате, разрядом тока в лоб внезапно превращаемая в мясо. Да и та, если верить работнику комбината, ставившему как-то у нее золотую коронку, ведет себя по-людски: каким-то непонятным образом чуя близкую смерть, сама вперед Смерти отравляет себя со страху, мгновенно вырабатывая в крови огромное количество адреналина (после чего мы едим отравленное мясо, не догадываясь, что это корова мстит нам, ее убийцам). Какое же количество яда выделяет организм человека, видящего, как на него несется не могущий, как бы ни пытался, притормозить на обледеневшей дороге автобус или грузовик, который через полсекунды намажет его на мостовую, как повидло на хлеб! Да, такой человек избавлен от тягот и страха медленного умирания, но то, что успеет он пережить за эти полсекунды и в тот последний миг, когда его... – какой мерой мерить? С чем сравнить?

Страшнее разве только насильственная смерть от человеческой же руки. Сто лет самого счастливого счастья ничего не стоят, если оканчиваются мгновенно в подъезде собственного дома, куда возвращаешься из гостей часов около одиннадцати, думая, например, что нет ничего хуже воскресного вечера: все приятное позади, сейчас спать, а завтра на работу. И тут, из темноты – бритвой по горлу... Да, бритвой. Один взмах! Тонко-тонкой полоской – а кровь-то хлынет как из трубы... Ей доводилось держать в руках скальпель, доводя до ума гипсовые формочки коронок, у нее и сейчас сохранилась пара их, острых как бритва, отточенных под остроту не чего-нибудь, а именно бритвы, *бриИтвыы-и*; она знала их тонкий надрез... О-ой! С первой молодости – даже когда Самара еще была спокойным местом, она, и в этом ее парадокс, никогда не была местом безопасным – она не надевала, если выходила на вечернюю улицу одна, никаких драгоценностей, кроме обручального кольца, когда оно появилось у нее на безымянном пальце; даже серьги носила почти всегда только дома, принимая гостей; от одного случая покрасоваться до другого дырки в ушах иногда успевали слегка зарости, так что вдевать каждый раз заново в уши серьги бывало больно, как будто мочки ее ушей были еще девственны.

Но любые меры предосторожности бессильны перед игрой случая. Ее тетя Сима в 1918-м, в Киеве, была уведена петлюровцами прямо из дома, на глазах мужа, которого держали трое здоровых хлопцев. Уведена просто так, безо всяких формальных оснований. Красивая молодая евреечка, да еще из приличных господ – можно вообразить, что они с ней вытворяли! Во всяком случае, домой не вернулась. А из соседей никто не пострадал, да и муж остался цел и невредим, он-то все и рассказал. Что тут скажешь, что? Не родись красивой... Звучит цинично. Но ей простительно, она еще долгие годы, вспоминая свою навсегда молодую тетушку, вздрагивала от боли и оскорбления. Если когда-то она кого ненавидела всею огнепалющей кровью, хотела убить медленной смертью, то только тех незнакомых, но наверняка «гарных» и наверняка невозмутимых, спокойных «хлопцев» – и совсем уж безвестного, малюсенького энцефалитного клеща. Его следовало не просто затоптать в землю, а зафиксировать живого на ложе микроскопа и под микроскопом медленно отрывать ему по очереди все лапки или что там у него отыскалось бы – все живое в нем...

Нет и нет; лучше уж вот так, как она: мало-помалу, потихоньку-по-тяжеленьку, подобру, так сказать, так и скажешь? так и скажу – хоть и понездорову. Куда спешить? Вдруг да и произойдет тем временем – ученые откроют средство продлевать жизнь еще на... на хоть сколько. Там видно будет. Как все-таки прав оказался Марк: главное – не умереть сегодня. Чтобы сегодня всегда оставалось

место и время для «будет». Или еще такое чудо: она все-таки уйдет незаметно. Ее поугали и решат: ну и хватит с нее. Дадим ей за это спокойно раствориться в смерти, незаметно перейти черту. Главное – пережить момент перехода, а там хоть и умереть. Почему не умереть, если незаметно? Если нельзя незаметно, без боли и сверх напряжения жить, то умереть-то хоть – можно? И хотя Галя Абрамовна за последнее время не один раз, словно проверяя себя, вывела, не словами, а все вот этими крючками и иглами, и скальпелями, но так же твердо, как если бы высекла самыми весомыми словами на скрижалях, что легких и незаметных смертей не бывает, все равно какая-то глупая надежда теплилась в ней. Да, пока поживем, а там видно будет.

Конечно, старость не в радость. Конечно, старой жить тяжело. Но живет же. «Что угодно, только не одинокая старость». «Главное умереть прежде, чем станешь всем в тягость». Жеманство. Реникса и реникса. Впрочем, оно и понятно: когда не старой еще видишь со стороны всех этих старух, ходящих под себя (смешное выражение – ходить под себя; то есть ходить – лежа? смешное, но невеселое), ставших обузой для близких, разумеется, не хочется попасть в их число. Но когда сама станешь вот такой старухой, видишь все, опять-таки, совсем по-другому. Не глядя снаружи, а живя внутри себя, в своей шкуре, живя непрерывно, старясь миг за мигом, разрушаясь неприметно для себя; и весь песочек, почему не назвать это учтиво, из уважения к роду человеческому, сыплется из тебя так привычно-естественно... и потом, приятно им оно или нет, ясное дело, не пахнет только свой песочек – но уж тут деваться некуда, тут прямой долг, и ты имеешь полное право на чистую совесть: многого не прошу, но – я стирала твои пеленки когда-то, так вот и ты поухаживай за мной теперь.

Но она не просила и этого. Ее некому было обихаживать каждый день – та, чьи пеленки она стирала, давно уж в Ничто Никогда. Видимо, поэтому, в строго определенном смысле, она и была еще на ногах. Что бы ни говорить об этих самых «судьбах», «милостью» которых и тэдэ – ей-то всегда казалось, что так называют случай, – но в чем-то и они, судьбы эти самые, то есть он, случай, знал меру. Многие несправедливости общего устройства компенсировались некоторыми справедливыми, по крайней мере, в ее отношении. Ценою потери всех своих близких она купила высокое право в свои-под-девянносто самостоятельно отправлять свои потребности. И если раньше она жаловалась на вялость кишечника, и Лиля доставала ей превосходнейшее, мягкое патентованное слабительное, «Сенаде», индийское, кажется, то в последнее время жаловаться следовало бы на прямо обратное. Да и стоит ли жаловаться вообще? Было бы кому и на кого – так нет же ни высшей инстанции, ни виновного: пожалуешься на Жизнь – а она: а ты чего хотела в свои годы? Чтоб я отдала тебя Смерти? Хочешь? Смотри, это мы мигом. Живи себе тихо. Пожалуешься на Смерть, а та тебе: ты права, ты и впрямь засиделась. Ладно, сейчас приду, заберу тебя.

Чего действительно она уже не могла сама, так это мыться: не было сил залезть в ванну, а уж выбраться из нее и подавно. Но ведь моешься целиком не каждый день; нужно отметить, что Галя Абрамовна, женщина во всем остальном щепетильно опрятная и чистоплотная, и раньше не считала нужным принимать ванну или душ каждый день. Причина проста: у нее никогда не было своей ванны до тех пор, пока в 1969-м ее дом на самом углу Красноармейской и Галактионовской не сломали и ее не поселили в однокомнатной квартирке девятиэтажного дома на Молодогвардейской, где кассы «Аэрофлота»; всю жизнь, почти восемьдесят лет до этого переезда, она обтиралась холодной водой до пояса, а по субботам, как водится, шла в баню. Так уж перемешалось все в ее жизни под знаком интернационализма: ребенок от чеха, русский муж и русская субботняя баня, и маца из непосещаемой синагоги, почему-то, по какой-то необъяснимой инерции родовой

памяти закупаемая каждую весну на Песах; впрочем, может быть все объяснялось проще – в самарско-куйбышевской синагоге всегда делали вкусную, тонкую и рассыпчатую мацу; похрустывая хрупкими, совсем-совсем, до удивления пресными хлебцами (это и составляло их изюминку), она всегда вспоминала смешную одесскую песенку времен чуть ли не гражданской войны о том, как шел трамвай десятый номер и тэдэ, и там в конце кто-то жаловался герою песенки на мацу, которой тот вез – целый чемодан: «Говорят, твое печенье – что без сахара варенье»... Это было так забавно точно, как редко бывало и у серьезных современных поэтов, стихи которых Зарочка, пока была чтецом-декламатором, перечитала со сцены в большом количестве, и само собой, она немало их выслушала («Тебе нравится, мамочка? – Что сказать? Щипачев неплох, но – не Блок. – Ты еще скажи, что Мартынов – не Лермонтов. – Безусловно. – Не смехи. Тебе все Блока подавай, не меньше? – Да... Вот именно. Все Блока».)

... Да, мыться достаточно и раз в неделю. А раз в неделю, – конечно, в субботу – ее могла помыть и Лиля, в ванной, помогая ей туда залезть и оттуда выбраться, а если сил и на это не было, тогда в большом зеленом тазу. И садясь после мытья с Лилей пить чай, вся чистая-чистая, в обществе другого человека она опять забывала свой страх и ласково думала, что уйдет тихо, как заваривается сейчас чай под крышкой: три ли, четыре минуты – не заметили, как не заметили, когда кипяток стал заваркой; так и она перейдет, не заметив.

Все будет как будет. Не было еще никого, кто с этим не справился. Главное ничего не придумывать.

А то ведь находятя же придумщики совсем уже невообразимого вздора. И, конечно, Марк в первых рядах – как без него? Одно время он всерьез уверял, что его мечта – умереть в постели на женщине. Именно так, не с женщиной, а «на женщине», – так он и говорил, старый бесстыдник, селадон... интересно, употребляют ли сейчас это слово. Да, подобное могло прийти в голову только Марку. Что может быть чудовищней этой бредовой фантазии? Весь склад ее природы приличной, воспитанной женщины, ценящей прежде всего не столько саму вещь, сколько ее уместность, правильный порядок вещей, – восставал против дикарского смешения этих двух, смерти и близости. Любви=жизни – и смерти. Надо же выдумать такое! Впрочем, это все тот же его стилёк, он всегда поддразнивал и чудил, до конца своих дней подкрашивал хной седые волосы на голове – Софа говорила, что и на груди, – и до конца же зимой ходил, то есть катался, на роллерах, таких коньках на колесиках, помогая себе лыжными палками, а летом, даже в компании, пресловутой специальной ходьбой, то обгоняя всех, то такую же «спортивную» ходьбой возвращаясь ко всем. «Ходьба – это здоровье. Это молодость. Мне шестьдесят пять, а я еще нравлюсь женщинам. А что ты думаешь? Я еще ого-го! У меня щеки, как персики, потрогай». Ему было хорошо за семьдесят, нашел, кому врать, ни о каком ого-го уже и речи быть не могло, оставалось только пожалеть Софу, ведь он при ней это всем сообщал, а она тихо краснела, – и щеки у него были не как персики, а как печеные яблочки. Однажды она ему так и сказала, сам напросился: «Как печеные яблочки», – при общей воспитанности она всегда отличалась прямоотой, – и как же он обиделся! По-детски, до слез, ей стало его жалко, и она погладила его по голове, слава богу, Софы рядом не было, та спокойно могла бы и в эти годы приревновать; да... В ноздри ударил вдруг запах его одеколна. В старости он все время душился каким-то краковским одеколоном (вероятно, запасся по случаю), недорого, поэтому крепко пахучим, что называется, мужественным, пытаюсь, и безуспешно, затмить силой его духовитости дух распада, источаемый тлеющим старческим телом; безуспешно, но не в ее случае: обоняние Гали Абрамовны, тогда (совсем недавно, давным-давно) еще сильное, к тому же истончившееся до дробности нюхательных ощущений вследствие постоянной работы не только за себя, но и за почти атрофировавшиеся зрение и осязание и

совсем умерший слух, обоняние ее различало за этой по-польски воинственной и амбициозной пеленой эрзац-ароматов лаванды, гвоздики, еще какой-то до боли знакомой травки и самого настоящего плохо очищенного спирта – не только общий приторно-тяжелый дух разлагающегося тела, но и его составные: запахи множества отмирающих клеточек, каждая из которых, пожалуй, даже приятно пахла прелым осенним листочком; однако умножение запахов тысяч на тысячи клеточек давало новое, и неприятное, качество уже не природной, а химической, нафталинно-ванилиновой навязчивости, в общем верно характеризующее самого носителя запаха, с его нервической ажитацией, лихорадочным румянцем и той остротой пустопорожней (не всегда, не всегда, будь справедлива и благодарна) активности, которой отличалась его долгая жизнь: спортивная ходьба на месте. Место это, в «рабочем строю», да и вообще на белом свете, ограниченное Куйбышевым, он ненавидел, всегда хотел сменить – и оставался, боялся, что не в месте дело, всюду, как везде, ничего не выйдет – ничего и не выходило... Эх, Марк, умница Марк, дорогой чудак-человек, где теперь твой синий олимпийский костюм с белыми лампасами, твоя гордость: «Хундерт процент⁷ чистой шерсти! Не веришь? Выдерни нитку и подожги!» И горела, да как славно горела подожженная нитка; и он выходил, безнадежно отважный борец-олимпиец за торжество спортивной жизни над Смертью, выходил каждое утро и каждый вечер, с гордо поднятой головой, до конца оставаясь верным заранее проигранной борьбе... Эх, Марк, Марк, как некрасиво, как прекрасно ты умер, от страха отважно выдернув трубку изо рта... напрасно, напрасно ты был отважен и задохнулся, сам себя задохнул, захлопнул, а попросту – с-дох.

Что ж, все мы там будем. Допустим; впрочем, тебе-то уж – что допускать? Ты там будешь безо всяких допущений, милая моя, и очень скоро. Обязательно будешь навсегда там, где тебя никогда не будет. Непонятно, но факт. Что ж, старая перечница, туда тебе и дорога. Пожила, порадовалась, пора и в крематорий. Самое время. И все-таки до чего ж непонятно.

Дать тебе жизнь и в обязательную придачу к ней инстинкт самосохранения, дать тебе сознание, которого нет у животных, это значит – преждевременный страх смерти, который им неведом, дать тебе еще и самосознание, то есть не только чувство своего «я», но и представление о нем – и теперь забрать все это без остатка назад. Обречь тем самым на неизбежность страданий и ужаса – ведь человек расстается с собой и с целым миром навсегда, при этом все время... ну, пусть не все время, ко всему привыкаешь, все встречаешь рассеянным умом и чувством, даже *это*, а главное, пока жизнь в тебе сильна, она забывает даже *этот* голос, – пусть время от времени, но сознавая, в отличие от животного, с чем расстается. Да еще – чуть не с рождения осведомить тебя, что ты, как все люди, – смертен. Обречен. Поступить так со всеми-всеми прошедшими по земле людьми – всеми до единого, кроме слабоумных, безумных, дурачков (счастливыцы!) Кто или что может рождать или создать возможность рождения *только на таких условиях* – и никаких иначе: рождать только смертных и только при условии, что они уже в начале своего пути поставлены в известность, что путь их жизни ведет только в смерть? То есть живые смертные могут с рождения до смерти не знать, что они смертны, но тогда это будут не люди – медведи, червяки, собаки, змеи... Других можно рождать на других, щадящих условиях, но людей, нормальных здоровых людей – запрещено. Кто же тогда придумал саму породу «человек»: смертный, заранее знающий, что он смертен, – и для чего запустил ее в смертельную жизнь? Врач не говорит больному, что у него рак в последней стадии. Жалеет. Раньше говорили, когда официально принято было верить в загробную жизнь; это ясно – нужно было многое успеть сделать, чтобы предстать перед Богом с чистой со-

⁷ Сто процентов (нем.)

вестью. Говорят, что за границей сейчас тоже сообщают больному, а в Бога там... верят или нет? Но даже если и не верят, тоже ясно: там живут, как раньше у нас; многие много чем владеют, и смертельно больной должен все знать о себе, чтобы успеть всем своим много-немногим распорядиться на земле. Ясно и то, и другое, и третье. Но *это*? Кто или что **это** создало человека только на таких условиях? И почему только его одного?

Только жестокая сила. Сила, не знающая жалости и сострадания.

Только для того, чтобы нами поиграться.

Когда надоело смотреть на кувыркающихся по траве, скачущих по степи, сосущих лапу в лесных берлогах, рычащих в джунглях, плывущих по воде, летающих в небе – на все свои прежние создания, рогатые, клыкастые, крылатые и хвостатые (тут старуха увидела всех этих разноцветных рогатых и крылатых, как они скачут и летают и радостно зависают в воздухе, как в передаче «В мире животных»), бесцельно и спокойно, ничего не ведая, живущие навстречу смерти, – эта злая сила, ни разу не создавшая никого без того, чтобы обречь его на смерть, заскучала. И тогда она решила сотворить нечто особенное, надоедающее не так быстро: смертного, знающего, в отличие от всех прочих смертных, что он смертен. И вообще – сознающего, значит, способного узнать и то, и это, и еще больше – все. Узнать все, кроме одного – как избежать смерти. Просто потому, что тут нечего узнавать – избежать ее нельзя. Дальше и больше. Эта сила решила размахнуться как следует. Не экономить средства. Она решила создать такого смертного, который бы не просто знал, что смертен, но такого, который бы знал, что он – это Он, и был бы очень высокого о Нем, о себе, мнения. Эта сила решила снабдить его способностями, небывалыми ни у какого тигра или орла, – и посмотреть, что из этого получится. Будучи слабее многих и многих, человек оказался наделен особыми возможностями стать сильнее всех. И он не посрамил возложенного на него и дарованного ему; он использовал эти возможности. Он бегал гораздо медленнее лошади, но придумал автомобиль в сто лошадиных сил и просто обгонял с тех пор даже упряжку цугом, в шесть лошадей; еще до того он придумал ружье и стал сильнее слона и льва. Он не умел летать сам, как птица, но смог построить самолет – и обогнал всех птиц. Он чувствовал себя порой хуже последнего таракана – потому что таракан не знает тоски одиночества и боли потерь – но он умел задумываться над своими горестями, плакать над ними, воображать и изображать их – и сочинил «Три сестры» и «Умиряющего лебедя», чтобы утешиться, а что такое «утешиться», как это грустно и хорошо, знает тоже только человек... И он научился говорить по изобретенному им аппарату с человеком на другом конце света и передавать телеграммы из Японии в Австралию за несколько минут. Он научился строить мосты на реках и во ртах, и еще много-много всего, чего и не перечислить. И он по праву возомнил о себе, что он – это Он, не чета волкам и козам.. Он даже научился убивать таких же, как и он, людей, как умела сама эта сила, и такими совершенными способами, что ей, может быть, самой завидно. Ей надо посылать наводнение за наводнением, ураган за ураганом, землетрясение за землетрясением, а ему стоит только взорвать кое-что, совсем не все взрывчатое из обширного арсенала, им же созданного, – и земли и воды как не бывало. И вот тогда-то игра и стала интересной – при всем своем величии, когда во всем подлунном мире не было не то что ему равного, а и близко ничего подобного не видно было нигде, при всех своих самолетах и телевизорах, нейрохирургии, блоках и шекспирах и всем-всем – человек умирал точно так же, как любая коза, любой клещ и червяк, как сам он тысячи лет назад, когда у него был только каменный топор, и все, к чему смогла прийти его гениальная медицина, его хирургия и фармацевтика за все время их развития – на йоту отодвинуть Смерть, увеличив за тысячи лет непрерывных усилий лучших умов средний срок

жизни на жалкий десяток-другой лет. Стоило научиться побеждать чуму, как эта сила, забавляясь, насылала чахотку; научились бороться с туберкулезом – всех начал косить рак. Сколько бы смертельных болезней ни победили люди, для тебя всегда найдется одна, всего-навсего одна, маленькая, но вполне достаточная, чтобы прихлопнуть – именно тебя.

Да, эта сила, видать по всему, создала себе, наконец, по-настоящему интересную игрушку, посылая ей все новые безвыходные обстоятельства и все новые творческие способности, чтобы выпутываться даже и из этих обстоятельств – и все-таки под конец сдохнуть. Заведомо сдохнуть в борьбе с тем, кто или что заставил(о) тебя и всех и вся кругом подыхать – и продолжать бороться, как Марк с его ходьбой. Видать, она таки создала для своего удовольствия что-то особое. Иначе создала бы и еще более интересную живую игрушку. Может, она так и сделает, но покамест что-то не спешит – на нашей недоброй старой Земле по крайней мере. Что-то никого более интересного вокруг не видно. Пока ей достаточно забавно с нами. Пока еще нескучно.

Бессовестная. Безжалостная. Коварная и циничная. Но в сотворенного ею человека – вложила, напротив, кроме жизни и сознания, еще и совесть, снабдила не всех, но многих несчастных, ею созданных и ею же обреченных, состраданием, прямодушием, порядочностью – значит, она знала и все это, чего была лишена сама или, точнее, не была лишена, раз она могла все это присвоить своим творениям, но она выбрала для себя совсем другие качества, которые ее больше устраивают, чтобы остаться при них, – но зачем же она сделала людей лучшими, чем она сама, их создательница? А чтобы затруднить окончательно и без того безрадостную судьбу человека, ею же, этой силой, для него изобретенную. Чтобы ему, всем этим лучшим обремененному, еще тяжелее стало бы добраться до конца. Чтобы его – добить.

Тут Галя Абрамовна вдруг очнулась – и только поэтому поняла, что то ли в дневной полудреме продолжала, как это у нее завелось в последнее время, разговаривать сама с собой, – но скорее по какому-то едва ли не собачьему встряхианию и фырканию пробуждения, она таки задремала по-настоящему в кресле среди бела дня незаметно для себя, и ей показывали неглубокий, судя по легкости расставания с ним, тонкий, как лед на только начинавшей замерзать в ноябре Волге, сон, не совсем обычный, сон-киноленту, где все было связано и даже диктор произносил за кадром слова, – но и не так чтоб уж совсем необычный, подобные сны не часто, но пару раз показывали ей, в них она тоже слышала дикторскую речь – неиспорченным запасным, *сонным* слухом; правда, предыдущие сны были бог знает о чем, о какой-то даже не чепухе, нет, может, это было и что-то серьезное о чем-то серьезном, но таком, до которого ей не было никакого дела, и при этом она так же, как и сейчас, проснувшись, не сразу понимала, сон это был или явь; кроме того, те сны, как и сегодняшний, отличались от обычных тем, что она их помнила, проснувшись, и не обрывками, а почти целиком – например, в одном таком сне долго, подробно рассказывалось о сталелитейном деле и показывали работающую домну, сталеваров и все остальное – интересно, что она не имела почти никаких сведений о ненужном ей сталеварении, чтобы снабдить ими диктора из сна, а тут ей сообщили целую массу – откуда же тогда они взялись во сне? Единственное отличие этого сна от предыдущих таких же было то, что вопрос, освещавшийся в нем, очень даже ее волновал, и именно перед тем, как заснуть, она как раз его себе задавала; поэтому она думала, что, может быть, она и задавала его себе уже тоже во сне, и это не она спрашивала себя, а все тот же диктор и задавал его вместо нее, и отвечал на него... Да, это объяснение.

Но сон она запомнила и, задавала она в самом деле этот вопрос или его задавал диктор из сна, неважно, – она именно этот вопрос очень хотела бы задать, да

еще так связно и внятно, как не смогла бы нынче, не имея прежней способности связной рефлексии.

Она запомнила не только вопрос. Она запомнила ответ.

Да, вот тебе, ешь; спрашивали – отвечаем.

Сделать это могла только вот какая сила: бессовестная, безжалостная, коварная и циничная. Чтобы поиграться.

Судьба играет человеком, а человек играет только на трубе – это не шутка. Эта надо понимать буквально.

Страшное дело. Страшное дело – вся наша так называемая жизнь. Как до нее раньше это не доходило? Это же так просто – как наглядно ей это только что представили!.. А может, и хорошо, что не доходило? И хорошо, что не доходит до всех кругом в полной степени? А то бы как тогда жить? Как прожить целых восемьдесят семь лет с полнотой этого знания? А ведь она их прожила; вот и хорошо. Да, но...

Но все это значит... это значит...

Это значит – что она **есть**, эта Сила. Коварная, жестокая, и – умная. Сознательно играющая с нами, мной. Ей что-то нравится и не нравится. Она издевается и смотрит.

Она живая! Живая Высшая Сила.

Вот это уж дудки. Этого никак быть не могло. Она никогда не верила в эти сказки для простаков. Ни в детстве, когда ее заставляли соблюдать субботу (да, а когда же ее мыли? не вспомнить; но не по субботам), и она не могла понять, если Б-г, Адонаи, Элохим – есть, то почему Ему жалко, если она в субботу поиграет во дворе с другими, со счастливой русской детворой. Ни в гимназии, особенно в старших классах, где девица лет 15-16-17, если хотела завести и поддерживать знакомство с приличными, интеллигентными молодыми людьми, должна была иметь в своем умственном багаже рядом с любимыми Гамсуном и Блоком еще и что-нибудь скучное, но интересное уже своею полуразрешенностью, совсем не входящее в гимназическую программу, и главное, умное – Фейербаха, Бебеля, Маркса и еще что-нибудь новенькое из *наших*, Плеханова или Струве. Надо было прочесть хотя бы по десятку страниц у каждого. И она читала подчеркнутое другими, очень умными, и верила прочитанному – в том и состояло гимназическое credo, чтобы верить во что угодно, но непременно противоположное тому, чему учат преподаватели.. А когда еще раньше, на уроках Закона Божьего седовласый и чернородый отец Петр отправлял их двоих, ее и Цилю Рубинчик, из класса – как завидовали тогда им все девочки, а те, кто сидел у окна, во все глаза глядели, как они прогуливались по школьному двору, уплетая пироги с морковью, ливером или солеными рыжиками, купленные здесь же во дворе у конопатого рыжего разносчика Фили по пятаку пара. Да, то были упоительные минуты вкусного безделья при общей скучной занятости и зависти – баловни судьбы; и Геля, Галя, которой зеленый шум ее весеннего цветения мешал услышать что-либо и кого-либо, кроме себя и этого восхитительного шума в себе, среди подружек с жаром отрицала не только бытие Бога, но и вообще существование каких бы то ни было сверхматериальных сил.

Абрам Наумович, ее отец, только что не молился трижды на день «бецибур» и не носил цицита под верхней одеждой; однако соблюдал субботу, постился перед Йом Кипуром и Рош-Гашана⁸, в ночь же на Йом Кипур совершал капорес: трижды вертел над головой петуха, что-то произнося себе под нос на иврите; после чего петух съедаясь в отваренном виде в бульоне, зарезанный перед тем, разумеется, по всем правилам шехиты, так, чтобы в бедной птице не осталось и кровиночки. В детстве ночные манипуляции с петухом, ужасая, завораживали ожидающую,

⁸ Главные еврейские праздники

изо всех сил не спящую, чтобы подглядеть, Гелю; в детских ее снах страшный обескровленный петух, теряя перья и трясая бородкой, налетал ее клюнуть, нацеливаясь прямо в горло – напиться ее крови, чтобы возместить потерю своей (много позже, услышав постоянное Машино: «Не клевал тебя еще в... жареный петух, Абрамовна!», она тут же вспоминала свои страшные детские сны); в юности же петуховращение отвращало, а более смешило ее своим полным несоответствием начинавшемуся XX веку. Отец был властный человек, твердых устоев, хотя и коммивояжер – профессия, трудно совместимая с отсутствием гибкости и терпимости, – причем коммивояжер преуспевающий. Но и Галя твердо стояла на своем – на своем ли? а собственно, что такое «свое», кто-нибудь пробовал вынуть из сваренной яичной лапши вбитое в ее тесто яйцо? – на том, что «наше время, научно разоблачившее библейские выдумки, дало нам подлинную свободу совести взамен рабства перед несуществующим Богом». «Плохо я тебя воспитывал, – отвечал мрачно Абрам Наумович, – плохо я тебя воспитывал, Геля. Не порол я тебя, Геля, гореть мне за то в шею. Напрасно не послушал я мудрости Соломона: ломай своему чаду хребет в юности, дабы он не посрамил твоей старости». Видимо, сохраняя надежду не попасть в конце завидно удавшегося коммивояжерского пути в означенное место, совершенно не подходящее для коммерции и вообще ни для чего, кроме того, чтобы в нем, не торгуясь и не обговаривая сроки, горели грешники вместе с их смрадными грехами, – и с этою высокой целью замаливая свое греховное отцовское мягкосердечие, он категорически настоял на своем, наотрез отказав Алексею Дмитриевичу; по его и только его вине влюбленные смогли соединиться лишь через несколько лет, когда у нее уже был ребенок от человека в ее жизни случайного, хоть и первого ее мужчины... ах, кто не жил в гражданскую, тот никого и ничего в том времени не поймет... а кто жил в ту пору, не понимал ее тем более (вот и отец, узнай он об истории с Мирославом – а ведь сам виноват в убийственной иронии историоносной судьбы, взамен отринутого им, по крайней мере, *своего*, русского голя, подкинувшей его дочери на свято место голя же, так еще и чужого, вообще какого-то чеха или словака, кто их там разберет, – умер бы от разрыва сердца, не умри он на полгода раньше, в январе 18-го, и именно от разрыва сердца, но по причине других и куда больших потрясений, пока она, волнуясь и приветствуя все политические перемены, тем не менее усердно – отцовская кровь, пусть и восставшая против отцовской веры, – заканчивала зубо-врачебные курсы в Москве).

Алексей Дмитриевич: чистейший человек, все простил, забыл и любил Зару, как говорилось уже, чуть ли не больше, чем родную дочь. Но Галя Абрамовна не простила ни отцу (а себе? как сказать... себе и не то прощаешь... хотя, конечно, справедливости ради не стоило бы), ни Богу, которого не было, но вера в него, а по большей части религиозные предрассудки – были, жили; невежественные национально-религиозные предрассудки, калечащие судьбы ни в чем не повинных любящих людей!.. Поди пойми после всего Алексея Дмитриевича, что-то вдруг ненароком за пару месяцев до своей совершенно неожиданной кончины взгрустнувшего и, помолчав довольно долго (впрочем, он, не будучи молчуном, никогда не был и говоруном, в отличие от Марка), молвившего: «Умру – отпоешь». И спустя некоторое время, поскольку она непонимающе-растерянна и даже чуть враждебно молчала в ответ: «Не поняла – так и не беда. Кто бы в этом хоть что-нибудь понимал. Ты просто сделай, как я прошу, договорились?» Это Алексей-то Дмитриевич, всю жизнь ходивший этаким вольтерьянцем в старом, досоветски-атеистическом стиле, посмеиваясь в усы над религией и отпуская анекдоты про попов! Надо же, кстати, чтобы его мать, Ксения Владимировна, одна из самых безалаберных женщин, которых она знавала, под конец жизни постриглась в монахини, где-то в уже советской Эстонии, сразу после войны. Русский православный монастырь в Эстонии, подумать только: у себя закрываем, а у них свои открываем... или он уже был

там у них, *наш* монастырь у них, а мы его у них только *не закрыли*, в отличие от себя?.. В молодости Галя Абрамовна приветствовала самые решительные меры по борьбе с церковью – оплотом деспотизма, апологетом невежества и проповедницей рабского смирения и покорности; однако с годами изменила свою точку зрения – то ли сама охолонула, то ли точка зрения, за неимением более деспотизма, неравенства и покорности, перестала быть актуальной. Конечно, по существу она стояла на том же, что и в юности – дважды два будет четыре независимо от того, актуально это или нет. Но во всем нужна мера и здравый смысл. Вот хоть и монастыри: кому они в наше время мешают? Умный, дельный, полный сил и энергии человек в монахи не пойдет; зато – какое утешение, прибежище для одиноких, старых, обездоленных, слегка тронувшихся рассудком – это же прорва, а не страна, при самой хорошей власти всем обеспеченной жизни не хватит, всегда будет тьма несчастных и несчастненьких; и вот, чем отводить для них специальные службы и помещения, умножать штат чиновников, которые все равно всегда, при любой власти будут грести под себя и в данном случае только наживаться на чужих несчастьях, – вот уже готовая служба СОС, именно, ведь в монастырь идут для спасения души, а заодно и бесплатно подкормиться, так вот им всем уже отведены, уже готовы места, пооткрывать треть, не больше, закрытых монастырей – и проблема решена. Правда, почему не дать несчастным их любимого опиума? Кому от этого хуже? Это уже неоперабельный случай, неисправимая публика, и пусть горбатого исправляет могила. И ведь как хорошо, все при деле, мы тут трудимся, они там за стенами молятся, а по улицам не стыдно и иностранцев провести. Да, с разрушением храмов и монастырей перегнули палку. Храм, что ни говори, – памятник культуры. Это воплощение не только худшего в народе, но и лучшего в нем: его представлений о прекрасном, стремления ввысь, в небо.. Его строят как дом для Того, Кого нет, но нет Его – по законам красоты, отрицать которые глупо, если только ты не поставил себе первостатейною целью быть прежде всего оригиналом (стоит ли говорить, что она знала одного такого оригинала). А что сделали в 32-м с кафедральным собором? Стоял себе на центральной площади, в ста пятидесяти метрах от ее дома, огромный белокаменный собор. Она с детства привыкла к тому, что он стоит, стоял и будет стоять – всегда. Но, видно, нет на земле ничего, что будет всегда – стоять, лежать, сидеть. Кого-то из тех, что сидят, ни с того ни с сего возьмут и выпустят; то, что чересчур уж крепко стоит на земле, обязательно свалят... Как грохнет однажды – стекла повывлетали; смотрит – а собора-то нет. Не может быть! Может. Аллес мёглихь. Взорвали, смогли. Взорвать динамитом этакую махину – зачем, когда уже все оборудование для планетария было припасено? И стоящее было бы дело. Красивое – сохранить, а вредное пере... профилировать? Перековать мечи на... как их?... орала. Кто они такие, эти «орала», никогда толком не знала; но сказано блестяще. На века, так что никто и не вдумывается. Так нет же, отчего-то передумали и взорвали. Ладно. Ну те-с, и давай на церковном фундаменте возводить Дворец культуры имени Куйбышева, с оперным театром, художественным музеем и областной библиотекой – все разом. Строили лучшие инженеры и по проекту очень крупного архитектора. Так на всех них во главе с архитектором настрочили донос, что-де все они вредители, что пол зрительного зала театра на полторы или две тысячи мест в нужный момент не выдержит нагрузки и провалится – и так оно и задумано, и построено. Натурально, заварилось крупное дело. Привезли в двадцати, если не больше, грузовиках, две тысячи мешков с песком – весом с вес среднего человека с запасом. 80 кг или даже больше. Наверное, специально шили такие большущие. Какую-то швейную бригаду оторвали от ненужного шитья и засадили за неотложные две тысячи мешков на пять пудов песка каждый. А потом другая бригада, эта уж грузчиков, наверное, – хотя могли взять и кого ни попадя, ненужного народу

повсюду хватает, чтобы его когда и где угодно взять и направить на нужное дело, — втащила все эти 2000 по пять пудов; каждый мешок тащило шесть человек, на плечах, как гроб (ну правильно, ведь если бы непроверенный пол провалился во время открытия театра, ровно такое количество гробов с телами самых главных и лучших людей города и их жен или мужей, чьих-то сыновей-дочерей — пришлось бы тем же способом, а может, и той же бригаде тащить на кладбище, где одновременно вырыто было бы две тысячи свежих могил! Откуда взять столько могильщиков? Такую кашу не то что заварить — вообразить невозможно никакому Марку; но если бы и в самом деле? Кошмар! Раз — и нет двух тысяч самых лучших! И похоронить сразу всех невозможно. Какой шум бы пошел по стране. Что бы говорили о нас враги. А у нас есть враги? Само собой, у кого их нет, чем же мы лучше? Нет, не так — чем мы хуже? В любом случае, есть и у нас, как у всех. Кошмар, но задумано гениально. Раз — и две тысячи в тартарары. Куда эффективнее всякой стрельбы и взрывов), каждый мешок втаскивали по очереди в зал и водружали каждый на одно из мест. Таскали, усаживая так мешок за мешком, довольно долго. Долгое тяжелое дело — партер, бельэтаж, амфитеатр. Наконец заселили мешком последнее откидное место на галерке. И что интересно — пол выдержал. Даже откидные места держали по пятипудовому мешку. Инженеры оказались не только квалифицированными, но честными людьми. То есть это не говорит о том, что они желали добра Советской власти, ни даже о том, что они не желали ей зла, но чего бы они ни желали или не желали ей, но ожидаемого от них и, может быть, замышляемого ими вреда ей — они взяли и не нанесли. Не нанесли вреда Советской власти — назло ожидающим вредительства представителям Советской власти. То есть все равно оказывались вредителями, это всякий понимал — но формально остались чисты, значит, целы и невредимы. Раз в году и грабли не стреляют. Дворец культуры с непроваленным полом стоит по сей день. Вот и всем бы такие полы, ей бы такой — а то в щель между досками столовая ложка провалилась, мамина ложка, серебро 84-й пробы, жалко, а никак не вынуть...

... Да; а тогда, в Покровском храме, стояла она дура дурой минут тридцать, а то сорок, что длилось отпевание, — глядя, как совершенно внезапно скончавшийся муж, любимый муж, волю которого она теперь исполняла, сильно того не желая, лежит, держа в сложенных крест-накрест на груди руках икону Божией Матери «Взыскание погибших», как оказалось, бережно хранившуюся им, невзирая на все его лихое безбожие, в заветном несессере из телячьей кожи вместе с дорогими безделушками, которые одна за другой и все как одна исчезли в ненасытных глотках торгсинов и ломбардов, а этот образ вот — остался, так что кроме него после смерти покойного в несессере обнаружилась только икона и записка: «С ней прошу похоронить»; глядя, как он лежит с иконой в руках и широкой, с церковнославянскими письменами на ней, тканой лентой, называемой почему-то «воздух», на лбу — а тем временем старый попик Алексей кадит ладаном над новопреставленным своим тезкой, ладаном, с которым вряд ли что в мире ей известных запахов могло бы соперничать по благоуханности, когда бы благовонный этот чад не был столь угарно-густ и прян, не имел бы той чрезмерной по нынешним временам, существенности, — так и сказать? почему нет, так именно и скажем, — чрезмерной существенности запаха, скорее раздражающей, нежели услаждающей обоняние современного человека. Да, было, было в этом что-то темное, сумрачно ветвящееся дымом, из толщи времен вынесшее свою словно бы навеки остановленную природу, в высшей степени чуждую быстрому и не витиеватому сегодняшнему дню — но она, хоть и принадлежала сегодняшнему дню, она, сама плавившая на кухонной газовой плите в тигле золотой песок или опилки и переливавшая потом жидкое золото по проволочной центрифуге, одновременно крутя ее, как коловорот, в гипсовую формочку, откуда до того полностью вылавлился снятый с зуба восковой

оттиск, обозначив в быстро застывающем гипсе требуемую форму золотой коронки, — она, знавшая, как от тяжелого золотого чада может ломить голову, но знавшая по себе и то, что привычный к черному дыму плавящегося золота свою алхимию не променяет на... да, она, штучный человек-частник-надомник, могла бы принять и полюбить дух ладана, если бы его не воскурjali Тому, Кого нет... да, кадит и бормочет что-то по-своему, по-поповски, припевая словно бы себе самому. Что-то нескладно-складное, непонятно-благозвучное. Она стояла дура душой, то всхлипывая, то скучая, а потом прислушалась — и среди прочего один отрывок оказался не только нескучным, но до слез горьким и в то же время торжественно-грозным, чему полупонятность старинного языка только содействовала. Впечатленная величественным и страшным смыслом услышанного, она попросила потом у отца Алексия книжицу, по которой он служил; он ей показал это место, и она списала себе на память весь этот отрывок. Несколько дней после отпевания она все ходила по опустевшему без мужа дому и читала нараспев эти строки по бумажному листку в клеточку, будто от них могло полегчать и ей, и ему, которого больше не было, или он был Никто Навсегда в Ничто Никогда; она читала и читала нараспев (и это в самом деле действовало облегчающе, погружая в бездумие и даже в какое-то чуть ли не сладостное бесчувствие), пока не выучила машинально наизусть и могла произнести и годы спустя, если бы не забыла за древностию лет, — не их, эти слова, но то, что их можно читать, когда страшно или просто неспокойно, и они как-то притупляют страх и успокаивают. Она забыла их, помня по-прежнему наизусть: «Приидите внуцы Адамовы, увидим на земли поверженного, по образу нашему все благолепие отлагающа, разрушена во гробе гноем, червьми, тьмою иждиваема, землю покрываема. Его же невидима оставльше, Христу помолимся, дати во веки сему упокоение».

Упокоение. Так хотел ее покойный муж, и воля его была для нее свята. И будем справедливы, в церковном обряде и впрямь есть что-то торжественно-скорбное, что-то честно-горестное, мрачное — и в то же время просветляющее. Что-то достойное самого главного в жизни человека — его всем нам положенного ухода в Ничто Никогда. Во всяком случае, почему не признать, церковь и сама обращает внимание на то, что смерть — это Смерть, и других привлекает к тому же; *ей не все равно*, и она хочет, чтобы и всем было не все равно: как так — целый человек неотвратимо и необратимо уходит в Ничто Навсегда? Задумаемся. Прочувствуем. И это делает... да, если вспоминать, больше и вспомнить некого, одна только церковь это и делает; одной ей и не все равно, жив ты или помер. Всякий боится только своей смерти, чужая его мало заботит: «Смерть вырвала из наших рядов...», — и вперед, к новым осушенным болотам и построенным городам; одна лишь церковь как ей рот ни затыкай, все равно бубнит свое, упрямо повторяя, тупо, но правильно напоминая, что вперед — это еще и всегда вперед к смерти, так, что осуша сто болот, ты, точно так, как этот, что уже лежит перед тобой в гробу, так вот точно и ты умрешь, и будешь лежать в гробу, а потом отправишься к червям или в печь. Это не мытьем, так катаньем заставляет... Но и только. Признаем, в церкви и впрямь хранится вековая мудрость, но ведь и с вековыми же предрассудками вперемежку. Вот тут, в этом отрывке, который сам собой запомнился наизусть, рядом с совершенно верным «разрушена во гробе гноем, червьми... землю покрываема» призывается: «Христу помолимся, дати во веки сему упокоение». А зачем Ему молиться, даже если б Он и был, чтобы трупу дать вечное упокоение? Это автоматически произойдет, уже произошло безо всякого вмешательства Христа.

Да, именно так: вековая мудрость вперемежку с вековыми предрассудками. Что и подтверждает: церковь — дело рук человеческих и только человеческих, потому что, если бы церковь Христова была от Бога, в ней бы одна только мудрость

и дневала-ночевала. А кто может говорить веками умные вещи пополам с глупыми? Понятно кто – человек. Народ. Человечество. И Бог тут ни при чем.

Да и – что Бог? Где Бог? В синагоге ли, где можно купить мацу и место на еврейском кладбище, где молятся на почти уже никому – ей, во всяком случае, – не понятном иврите? Или Он в мечети, где женщин пускают только на второй этаж? Может быть, еще прикажете носить паранджу? Дичь, азиатчина! Или Бог в русской церкви, пустой по будням, битком набитой по воскресеньям и их праздникам? Старухи в черных платочках, трясущиеся старички, нищие, калеки, земные поклоны: на коленях об пол лбом – бух! бум! И мелко крестятся, и шепчут – или возглашают; нормальным голосом и тоном слова не скажут. Убожество. Вот-вот: где Бог, там непременно – у-божество.

... Правда, году то ли в 56-м, то ли в 58-м, как давно это было, Боже мой – Боже мой, Которого нету, – в городе много шуму наделало «стояние Зои». Так его потом называли, а тогда дело было так. Некая Зоя, девушка лет восемнадцати или двадцати, у себя дома на вечеринке, не дождавшись своего жениха Николая, схватила в шутку родительскую икону Николая-угодника – в смысле: не оставаться же мне одной, когда все парами, и раз такое дело, буду танцевать с этим Николаем взамен того, мне что тот Николай, что этот – строго говоря, без особой разницы. После чего, схватив икону обеими руками, пустилась будто бы в пляс. Нуте-с, тут-то вот и произошло чудо: икона прилипла намертво к рукам кощунствующей Зои, а ноги ее также намертво приросли к полу. И вот с тех-то пор, извольте ли видеть, несчастная будто бы так и стояла день-ночь, и не было ни у кого сил ни вырвать икону из ее рук, ни оторвать ее саму от пола, ни хотя бы согнуть ее ноги в коленях, чтобы, пододвинув стул, усадить виновную в столь страшном святотатстве грешницу; покуда, как сказывают, по молитвам некоего «старца» (тоже вот еще любопытная фигура: у обычных людей старики, а у этих – «старцы», видимо, что-то вроде аксакала, но сверхаксакала, потому что «по его молитвам» вечно что-то происходит, скажем так? а почему нет, – нестандартное) она отлипла якобы от пола – и то ли умерла вскорости, то ли ушла в монастырь – еще ведь есть пяток женских монастырей, – где пребывает в здравии и поныне, но под другим именем. Так ли было, нет ли, но у дома Зоиных родителей на улице Буянова (название-то одно чего стоит) в паре трамвайных остановок от дома Гали Абрамовны собралась толпа в самом деле пренесметная, и уж как собралась, так и не расходилась несколько дней, пока в дело не вмешались силы правопорядка и того более – компетентные органы (потому что молва уже разносилась такая, что чуть ли не из самой Москвы ехали любопытствующие, а от Москвы и до «Голоса Америки» рукой подать). Галя Абрамовна, однако, нимало этим не была взволнована, хотя и проходила мимо злополучного дома пару раз за это время, и дивилась, глядячи, тому, сколько же глупых людей еще живет на свете, особенно в нашей стране. Она по складу ума вообще испытывала сильную неприязнь к мистике, да и всему иррациональному, кроме, может быть, только женской интуиции, и то не всегда; из всех же видов религиозно-мистических... чудачеств, скажем так? да, так именно и скажем, – менее всего ей импонировало «почитание» неких «святых» и молитва им... тем, которых – нет, потому как они все до одного отправлены в Ничто Никогда. Молиться Богу – в этом, конечно, тоже нет особой логики, поелику, их же словами да и о них же, – поелику еще Бог всеведущ, всеблаг и всемогущ, то этого более чем достаточно, чтобы он и без твоих надоедливых просьб знал, что для тебя хорошо и полезно, и посылал бы тебе именно это, а от плохого и вредного избавлял бы – безо всяких, повторим, избыточных и тем уже докучных бормотаний. Но это еще ладно – по-человечески понятно желание обратиться к авторитетному для тебя лицу. Живому лицу. Ведь кем бы ни был Бог, но понятно (то есть именно – не понятно), что Он – не временно, а постоянно живой, в отличие от смертных. Но поклоняться и

просить помощи – у человека же? Что значит «святого»? Скажем иначе, понятнее для нее – праведника. Святых она не видела, но праведных людей, отзывчиво добрых и предельно порядочных даже в самые-самые те времена – таких она пару раз за свои восемьдесят семь встречала. Но ведь, в отличие от Бога, они и живыми-то совсем не были всемогущи, а теперь уж и подавно умерли. Их нет как нет в Ничто Никогда. Так кому ты поклоняешься и у кого просишь помощи? У такого же, как ты, ну, пусть при жизни он был в сто раз лучше тебя, но у такого же, как ты, смертного, только уже мертвого. У какого-то Николы – или кто у них там еще? Серафим... Сорский, что ли? И после этого мы осуждаем культ личности. Да его бы не было, если бы народ сам, еще до всякого Сталина, не сотворил себе целую кучу кумиров, что, между прочим, их же Бог им же категорически запретил (на этом уровне при таком отце, как у нее, она-то уж знала «заповеди Божии»). Народ так и тянет всегда бухнуться кому-то в ножки – а Сталин за это отечай. Нет, она не за оправдание Сталина, но, чтобы его судить только за свое, а не чужое, хорошо бы рассмотреть его дело с разных сторон. Взять, к примеру, какой-нибудь другой народ, вот хоть голландцев, и посадить им – так это на минуточку, представим себе хорошенько – генеральным секретарем Сталина. Что было бы? Вопрос.

Да говорили, кто, по их словам, попал в дом, что и Зои-то там нет никакой – пусто. Но какова цена их словам? Не под сомнением ли слова любого, кто об этом без конца говорит, уже только потому, что он вообще об этом говорит? Вообще из толпы зевак? Нет ему веры – точно так же, как он уверяет, что Зои там нет, так же можно сказать и о нем – полно, да был ли ты там, не врешь?.. Допустим, есть Зоя. Допустим даже, она стоит. Прилипла. Ну и что с того? Значит ли это, что Никола ее приклеил? Совсем не обязательно. Есть кататоническая форма шизофрении (все-таки она была зубным, но врачом, имела какие-то общие понятия) – вполне может проявляться и в таком вот виде. Вообще, природных загадок тьма. Хотя бы летаргический сон. Сколько бы ей ни объясняли специалисты, она никогда не могла понять, как все-таки человеческий организм, пусть и с отключенным сознанием, может оставаться живым, неделями, а то и месяцами обходясь без еды и даже воды. Она подозревала, что и специалисты только делают вид, что знают. При чем тут отключка сознания, когда материя первична, и в организме происходят обычные, хоть и сильно заторможенные отключившимся сознанием процессы? Месяцы без воды – а потом просыпаются живыми. Фантастика! Чем этот факт менее удивителен, нежели прилепленная Зоя? Сами – ни по чьим молитвам.

Да, она и безо всякой Зои знала, что есть много тайн, еще не познанных наукой. Но именно *еще*. На то и наука, чтобы развиваться. Когда-нибудь все эти тайны покажутся детской игрушкой. Так, одна из ее приятельниц рассказывала: как-то раз под вечер она готовила ужин, дожидаясь возвращения дочери. И тут, у плиты, ей был голос. Внутренний голос: «Выйди за дверь. Выйди за дверь. Выйди за дверь!» Она послушалась, отперла дверь и вышла на лестничную клетку – что же? Этажом ниже послышался сдавленный крик и шум возни. Спустилась – какой-то грабитель, не то насильник напал на ее дочь! Увидев, что жертве кто-то идет на помощь, грабитель, совсем еще мальчишка, бросился бежать. Что после этого скажешь? Да, в мире много таинственного, и одна из самых таинственных вещей – теснейшая связь между матерью и ребенком. Ей ли не знать? Но подождите, дайте срок – и всякая «телепатия» получит исчерпывающее объяснение...

Не верить же, в самом деле, что там, в загробном мире, ожившие мертвецы сидят и помогают Богу управлять миром земным. Огромным миром с его четырьмя океанами и пятью (или шестью?) континентами, с миллиардами одних только людей и только в один данный момент времени. А сколько миллиардов людей прошло по земле за 2000 лет одной только нашей эры – и вот всеми этими человеческими-то судьбами внутри всего колоссального земного хозяйства в первую

очередь и помогает Ему ведать какая-нибудь тысяча, пусть десять тысяч, «святых», то есть всего-навсего умерших в разное время людей, какими-то своими человеческими качествами особенно приглянувшихся Богу. Это же – мама родная, это... Нет, ну что, в самом деле, если какой-то Никола, прогневавшись с чего-то на безобидную дурочку Зою (ведь на дураков же не обижаются, тем более святой, наверняка умудренный жизнью человек), может взять ее и вот так просто прилепить, а потом так же просто отклеить, то – что же тогда может Сам Бог? Просто не придумать тогда того, чего Он не смог бы. А уж наказать за подлость или наградить за добродетель – Ему пара пустяков. Больше того, именно этим воздаянием «каждому по делам его» Он, как говорят сведущие люди, если считать таковыми представителей духовенства, в первую очередь и озабочен.

Ну и где же в таком случае Его всемогущая и праведная десница? Где Он и чего Он ждет? Пора, давно уже пора разобраться с теми и другими. Накопилось уже достаточно.

Если хочет всем спасения, почему не явится – всем? Кто Ему мешает? Тогда все протрут глаза и прозреют. Судя по тому, что, если *им* верить, избранным Он – является, и те сразу протирают глаза. Начиная с Фомы неверующего (эту историю она помнила потому, что отец, непоколебимо веря как в святую правду в злостные выдумки Торы, отрицал как злостные выдумки все, во что верят христиане, все, написанное в Евангелии, – примером же самого отъявленного вранья приводил именно историю с апостолом Фомой, как тот из неверующего стал верующим). Значит, этот способ убеждения – не запрещен. Ничего плохого в нем нет, он соответствует правилам игры. Тогда примени его ко всем, хотя бы к половине, к четверти, к сотой, хорошо – тысячной части! Эти 4-5 миллионов тебя устроят своею... хорошостью?... под-готовленностью? Явись им – и пять миллионов проревших убедят остальных.

Нет, Он не приходит. Не карает злых и не награждает добрых; если это и бывает, то иногда, и так же случайно (только с куда меньшим процентом вероятности), как и прямо противоположное: сколько подлецов и мерзавцев – она не испытывала особой вражды и к ним, может быть, не только из общей своей доброжелательности, но и потому, что ее семью они обошли стороной, – но у нее были глаза, и она видела: сколько подлецов и мерзавцев жили – и как жили! И умирали как люди, мирно, с хорошим уходом за ними, который они могли себе позволить, в кругу, что интересно, чаще всего любящих их близких. А порядочный человек возьмет и стукнется средь бела дня о какую-то дрянь, и нате вам: саркома; а зачем? Может, чтобы облагородить его страданием? Но жизнь – не роман Достоевского. Боль, при которой не помогает морфий, не облагораживает. И где же тут справедливость? А Зара? Ее-то за что? Могла бы еще пожить и, читая хорошие стихи о любви, как раз облагораживать души, готовя их к Нему. А погромы, блокады (как только блокада, Марк мог перечислить все блокады в истории войн, ей всего не упомнить, но одно она усвоила: блокадный счет голодным смертям всегда ведется не меньше, чем на десятки, а то и сотни тысяч), голод 21-го года (почему-то все вспоминают его и не вспоминают голод в Поволжье 29-го года, а он был еще страшнее; один председатель совхоза-миллионера, человек небедный, ставил у нее золотой мост и разговорился; между прочим рассказал и о том, что в деревне Андреевка какого-то из районов Куйбышевской области в 29-м году в Поволжье одна женщина с голодухи съела свою сестру; та как раз померла с голодухи, и сестра съела ее труп по частям; к ней пришли, когда она доедала остатки сестрина мяса; сделать с ней, однако, ничего не сделали – женщина от сестроедения уже очевидно, безо всякого медосвидетельствования, сошла с ума, поскольку не узнала даже председателя сельсовета; так с тех пор и живет она, и колхоз ее кормит – не оставить же ее второй раз помереть от голода; но все кличут ее Анчуткой; почему Анчуткой? да потому), концлагеря немецкие и наши. Китайская культурная

революция. Резня в Кампучии. Напалм во Вьетнаме. Бесконечная резня по всей Африке. Чили. Ливан, Индия, Пакистан и Бангладеш. Она всю жизнь до самого последнего времени внимательно прочитывала газеты, так что коллекция Человеческого взаимоистребления подобралась в ее даже потускневшей памяти – внушительная, пусть и неполная; и хорошо, что неполная. Все посчитать – это... это не может быть сосчитано, как «Сикстинская мадонна» не может быть оценена. Смерть и неопишуемые предсмертные страдания людей по всему земному шару, людей, чье количество *не может быть сосчитанным в миллионах*.

Почему же Он не помешал и продолжает не вмешиваться – Он, всемогущий и всеблагой?

Почему? Да потому, что нету Его, вот почему. Все очень даже просто.

А нет Его потому, что мы знаем о Нем: Он не только всемогущ и всеведущ, но и всеблаг. То есть если бы Он был, то мы знаем, что Он был бы именно таков.

А миром, теперь старуха знала это, правит высшая не благая, не добрая, хотя и всемогущая и, вполне может быть, всеведущая, но з л а я Сила.

Всю свою долгую жизнь она не верила не только в Бога, но в существование каких бы то ни было сверхприродных, сверхъестественных сил. Все загадочные и аномальные случаи объяснялись тем, что природа вещей включает в себя многое еще не познанное и потому считающееся сверхприродным. Но, еще и еще раз, дайте срок, поживите – и выяснится то, что и должно было выясниться: ничего сверхприродного природа просто не могла произвести.

Но сейчас, после того ночного визита Смерти и нынешнего дневного сна с голосом диктора... сейчас она вынуждена была сказать: как бы ни казалось, что чего-то просто не может быть никогда, но если ты убедился на собственном опыте, что оно – е с т ь, то надо уметь признавать свою неправоту, даже если тогда выйдет, что ты, оказывается, был неправ – и в самом главном – всю прожитую жизнь.

Все выглядело теперь иначе, и так же, как в старой картине мира без вмешательства высшей Силы, так и в новой, где эта Сила присутствовала и все определяла, выстраивалось в организованный ясный порядок. Правильности старой картины мира, пока она рисовала себе ее, ничто не могло опровергнуть. Правильность новой была для нее также неопровержима; нет, больше, потому что Галя Абрамовна теперь не просто была потому-то и потому-то убеждена в присутствии высшей Силы, но она *знала* ее достоверно, была с ней дважды в прямом контакте.

Конечно, могло быть, что это стариковские бредни, старческий маразм, пресенильный синдром. Слуховые и зрительные галлюцинации, наконец. Она допускала это и готова была, если б ее убедили в обратном, вернув к прежней картине мира, первая посмеяться над собой. Однако старуху не только ничто не убеждало в обратном, а, напротив, сейчас все, что ей было известно о мире и своем месте в нем, выстроилось, перестроившись, виделось под таким углом, что все ясно и неотразимо – не доказывало, но прямо показывало: злая высшая Сила есть, от нее все и зависит, и вот сейчас ей оказалось дело и до Гали Абрамовны.

Да, она совсем по-новому видела сейчас строй своей жизни, ей открылась железная, *организованная* последовательность событий, состоявшая с какого-то момента в планомерном отделении ее сначала от людей, потом и от какой бы то ни было внешней жизни (впрочем, в изоляторе было прорублено чьей-то все учитывающей рукой оконце: Лиля соединяла ее с миром ровно на самую малость, чтобы она не умерла с голоду и не запустила бы себя до вшивости; оконце, но не дверь – выйти в мир она не могла), а потом и от самой себя – лишенная половины органов чувств и почти лишенная ног, она была самым настоящим обрубок.

Все продумано. Все ясно. На ней ставили опыт: как поведет себя человек, голый человек в полном одиночестве, лишенный физической возможности, если б и захотел, пойти к людям, сделать им что-то нужное и тем почувствовать и себя

нужным, значит, живым; без почти какой-либо возможности рассеяния, кроме той, что дает сама старость: скатиться на небольшое время в сонное, ко всему безразличное оцепенение, – что ж, и тут есть отличное средство встряхнуть: врубить электричество смертного страха – на первое деление; этого достаточно. Дать ему всю полноту дней, отпущенную человеку, протянуть его жизнь так, чтобы она в конце концов даже ему самому представлялась ненужным, слепым аппендиксом – и вот тут-то, при конце иглы, показать то, что было сутью жизни и о чем она не думала серьезно никогда ранее: живое жерло Смерти.

И эта нарочная, специально посланная ей бессонница. Эти иглы, крючья, зацепы – в пору, когда уже ничем не отвлечешься от них, поневоле станешь пациентом их непрошеной заботы. И так заботятся о каждом рожденном на свет, посылая каждому тьму способов заглушить одно, заполнить другое, сколько разнообразных удовольствий, развлечений, тяжести труда и облегчений отдыха – сколько способов обмануть себя услужливо подsunуты были ей на протяжении восьмидесяти лет; до поры до времени. Какое дьявольское терпение – чтобы потом парой злорадных ударов разрушить все это здание жизни на песке, разоблачив все прежние обманы и показать все, как оно на самом деле, во всем его уродливо-ужасном обличье. Дальше – пустота, хуже пустоты – небытие. Нуль. Ничто. Никогда.

Ничто? Но если бы ее «я» было частью природы, продуктом материи, оно как часть природы и было бы приспособлено к любым формам природной жизни. К любым, а значит и к своему выключению, когда жизнь естественно закончилась. Реакция на норму всякой вещи и была бы нормальной, и умирать было бы как сильно болеть, а потом, заснув насовсем, отправиться в Ничто. Никогда. Но нет же. Уже сам необычный характер смертного страха – а ведь отмерло уже 90% тела, недомерший остаток почти не считается, не должен считаться – не говорит ли о том, что ее «я» и природа, хотя и связаны... И старуха вновь испытала странное, пугающее чувство, что ей предстоит отплыть в море, одной в огромное волнуемое море, и что это живое и зрячее море безразлично или даже враждебно, но внимательно следит за ней, Галей Абрамовной, всеми своими бесчисленными глазами-волнами шумно накатываясь на нее, маленькую-маленькую... Это море – она, эта Сила. Живая, разумная, сверхприродная злая Сила.

Это же ясно, ясно. Сотворить жизнь, бессмысленную и ужасную, замаскировать бессмыслицу и ужас тут же, на ходу для этого сотворенными обманами будто бы серьезных радостей и горестей, чтоб рожденный, посылаемый на смерть, думал, что послан в жизнь, способен был жить и жить, – и вдруг прекратить эту жизнь, отобрать ее в ужасе и муках. И больше всего не в муках тела, но в муках непонимания – за что размалывают меня в прах, раз родили, приучили, что мое «я» – есть, и готово и дальше только – быть?

Нет, этого не может быть. Нет, может. Больше того, так и только так оно и есть.

Одно только: если предстоящее плавание – не в Ничто. Никогда; если оно не конец. Если **там** что-то – есть; тогда... ну, что, что тогда? Бога нет, доброго Господа нет, мы это выяснили с тобой, нет и не было, иначе Он бы пришел на помощь ее Зарочке и всем-всем чужим детям и взрослым детям, блокадным, бабярским, освенцимским, африканским, бангладешским и кампучийским и еще и еще... – да, пришел бы хоть раз, один раз из...; Ему не надо являться все время, человек сам должен заботиться о себе, но когда такое ЧП, когда забивают, хуже скота, сотни тысяч мотыгами насмерть, как в Кампучии, она читала, там убили каждого четвертого, ни за что, за среднее образование, просто так, по плану, – когда косяками умирают от голода, пожирая крыс, и топят собственными экскрементами – тут Он должен явиться, если добр и силен, и спасти и защитить. Говорят, некоторые из его любимцев тем и славны, что защищали слабых и отдавали свое

последнее голодным; а как же Он Сам? Когда умирают сотни тысяч, ни один из его посланников, будучи всего лишь человеком, не в состоянии уберечь эти тьмы и тьмы – нужна Его неотложная помощь. Ну и где Он?

Нигде. Нет Его. Значит, Его нет. А есть вот эта, другая, злая Верховная Сила. Это она тебя породила, и она же тебя убьет, это уж будь благонадежна. И даже если там и есть что-то, оставлено что-то для тебя – так нечего радоваться, плакать надо: это не для тебя, для Нее, чтобы ей и там тобой забавляться – Ей ведь только этого и надо; чем уж **там** отличается от **здесь** – не знаю, но только мало тебе не покажется – из огня да в полымя, это уж будь уверена.

Ну, а коли так – за что же уважать-то Ее, верховную кровопийцу? Преклоняться – перед собственным палачом? Благоговеть – перед жестокой ехидной, кровавадной забавницей? Ни-за-что. Что, в самом-то деле. Бойся-не бойся – все едино прихлопнет; позабавится кошка мышкой и – цап.

Ты, убийца, – еще и издеваться? Так вот, слушай. Я, Геля Абрамовна Атливанникова, не боюсь тебя, плюю на тебя и заявляю протест (Кому? На кого? Ей же – на Нее? Не смеши меня!) Да, протест. Мне восемьдесят семь лет, но я не собираюсь умирать по-твоему (а по-чьему? по-своему? ой, не смеши меня). Я не умру, пока сама не захочу; а не захочу я никогда. А если ты все-таки меня прихлопнешь и уведешь в не-знаю-что-Навсегда, то знай, по крайней мере, что я не дала себя одурачить, как другие; ты игралась со мной, но и я раскусила тебя, и когда ты меня уведешь, я скажу тебе в лицо, в безобразную твою рожу все, что я о тебе думаю. И еще скажу, хоть убей меня прямо сейчас, чтобы мне больше уже не встать с этого кресла, что права казнить, никогда не милую, я ни за тобой, ни за кем не признаю – и издеваться над собой не позволю!

И она делала все, чтобы показать свое неприятие Высшей Злой Силы: усиленно, демонстративно ж и л а. Она ела супы и каши, рыбу и мясо, овощи и фрукты, запивая все клюквенным морсом и компотом из куряги и чернослива, чаем, кофе и какао «Серебряный ярлык». Горьковатый, мужественно-сухой вкус рассыпчатой гречневой каши приятен был чувствительному аппарату языка ее и нёба так же, как обволакивающая влажная женственность каши из овсяных хлопьев «Геркулес»; для нее было очевидно, что холодная волжская вода тверда и землиста, содовый боржом жирен, как молоко, а вода «Джермук», напротив, тоща, поджара, что разваренная куряга сохраняет бархатную ворсистость свежего абрикоса, что свежезаваренный, но простывший чай в стакане всегда немного отдает рыбой, а ванильный сухарь, размоченный в чае, перед тем, как под легким нажатием зубов (или тем, что, как у нее, во рту вместо зубов) совсем развалиться в сладко-водянистую мокротень, все-таки до конца остается сухарем, издавая неповторимо-сухарный хруп-стон; однако, как тому рано или поздно надлежало произойти, обоняние и вкус ее, дойдя до высшего пика обострения, устремились, в свой черед, к атрофии, вслед за уже отмершими органами чувств. С каждым днем усиленной их эксплуатации они отмирали, понемногу, но все сильнее, пока, наконец, Галя Абрамовна не начала незаметно для себя есть п о п а м я т и. И, сливая воедино почти неразличимый уже вкус поглощаемой пищи с острым ароматом и отчетливым вкусом вспоминаемых яств, старуха уплетала порции жареного хека, лимонемы или минтая, незаметно подменяя их в своем сознании паровой осетриной или карпом в сметане. Лишь некоторое время спустя до нее доходила реальность в виде отрыжки, вызванной морской или океанической мороженой рыбой, съеденной в таком количестве, как если бы это была свежая речная; тогда огорошенная старуха с грустью думала... опять-таки не думала, а просто ей становилось грустно, что Лиля как-то все меньше заботилась о ней. По причине старческого недержания языка у нее однажды вырвалось: «Лилечка, что-то вы стерляди давно не приносили (она всегда, даже в те военные времена, когда Лиле было

пятнадцать-шестнадцать лет, была с той, как и со всеми, кроме родных и близких друзей, была на «вы»). У вас ведь стерлядь раньше не переводилась». Лиля растерялась, а Галя Абрамовна, помолчав, добавила: «И угри горячего копчения». Лиля, в свою очередь помолчав, обдумывая ответ, написала: «Перебои нынче с угрями, Г. А. И со стерлядью». «Пе-ре-бо-ои, – глядя в лупу на записочку, озадаченно прокаркала старуха своим слишком громким глухим голосом; и как-то даже величественно подвела черту, словно решила вопрос: “Ну, когда они кончатся, эти пере-бои, вы уж мне принесите, пожалуйста. Я – очень люблю». И она вновь и вновь расставляла свои многочисленные тарелочки; даже один-единственный кусочек селедочки или колбаски достаивался отдельной тарелочки; лежа в самом ее центре, он и становился временным центром перемещающегося с тарелочки на тарелочку внимания: искусство выживания требовало строгой, не знающей исключения, дисциплины.

Галя Абрамовна догадывалась, что дело нечисто – Лилия обманывает ее. Какие такие могут быть «перебои» в мирное время? Да, все мясо в магазине «Мясо» кончилось, Марк был прав, кончилось еще до Брежнева, не по вине этого, как она знала по его отношению к целующим его детям, доброго (вероятно, слишком доброго) руководителя. Но мясо растят в деревнях, а в деревнях живет деревенский же народ, а от народа, особенно деревенского, всего можно ожидать. От каждого из наших людей в отдельности можно и нужно ждать хорошего, но от всего народа вместе – чего угодно (а главным образом – чего *не* угодно). Но рыба – ведь рыба водится в реках, а наши реки велики и многоводны, там чего только нет – и в неограниченном количестве, равно как в морях и океанах – не сосчитать лососей, угрей и крабов. Как это возможно, чтобы в магазине «Рыба» не было какой угодно свежей рыбы, а в магазине «Сыр» – швейцарского сыра и вологодского масла? Сыр и масло делают не в деревне, в деревне только доят коров, беря от них молоко для сыра и масла. Но если забить корову на мясо – станет коровой, мясом одной коровы меньше, и у народа, если уж он взял этот курс, может дойти до того, что мясных коров вообще не останется; меж тем как дойных-то коров не забивают, и дояркам ничего не остается, кроме как доить и доить все тех же коров, получая все то же количество молока, стало быть, и сыра с маслом. Нет, тут что-то не так.

Она любила Лилию, но перестала ей доверять всецело с тех пор, как ей открыла глаза на вещи последняя оставшаяся в живых, проживающая давно уже в Москве у дочери приятельница, с которой она переписывалась, пока руки могли еще что-то долго, трудно чиркать на бумаге. В письмах Галя Абрамовна все хвалила Лилию, сообщая по ходу дела – других новостей, кроме политических, у нее не было – подробности из жизни семьи Понаровских. И вот та как-то и ответила в очередном письме: а тебе не странно, что твоя Лилия так старается для... я ничего не хочу сказать, ты ей не посторонняя, но все-таки же и не мать родная. Я ничего не хочу сказать, она наверняка славная, отзывчивая женщина, но почему она так старается, если ты ей не мать родная? Она ведь молода еще, у нее работа, дом, семья – почему она находит для тебя так много времени? Извини, но мы с тобой жили на этом свете и знаем, что такая забота за «спасибо» крайне редка. Извини, но... может быть, ей нужно что-то от тебя? От нее? Но что у нее есть? Деньги – так их почти не осталось, она, безусловно, успеет проесть все или почти все, даже если очень скоро умрет. А квартира? Ты забыла? Ведь всего нужнее людям – жилплощадь. У тебя же есть жилплощадь. Так вот, извини, конечно, но... не хочешь ли твоя Лилия прописать у тебя своего Витю? Но каким образом? Господи, ну, есть способы. Всегда есть способы. Например? Например – опекунство.

Ей раскрыли глаза; действительно, Лилия неоднократно заводила будто ненароком разговор о чем-то вроде родственного обмена. Что-то такое вроде бы съе-

хаться. Для общей пользы. Разумеется, она слушала, слушала, но, предупрежденная умным человеком, в конце концов категорически отказалась. Тут-то и возник другой вариант, где фигурировал уже только Лилин сын Витя, которого Галя Абрамовна ребенком почти любила – Витя появился на свет год спустя после Зариной кончины, когда душа ее все еще пребывала в коме, не годясь для по-настоящему живых теплых чувств, – во всяком случае, как она часто поминала потом, учила его приличному поведению. Витя в детстве тоже относился к ней хорошо, видя в ней почти-бабушку, однако, выросши, не проявлял желания зайти в гости. Кроме того, она знала, что Виктор спекулянт, а спекулянтов она не жаловала со времен Гражданской и совсем невзлюбила в Отечественную. Доводы Марка, что-де всеми уважаемый отец ее занимался не чем иным, как спекуляцией, сопряженной, как и сейчас, с тяжелыми переездами, работой с людьми и особым талантом чувствовать конъюнктуру, Галя Абрамовна решительно отвергала, считая софистическими: у каждого времени свои песни, мы живем в совсем другом обществе, строительство которого ее отец как раз и не мог пережить. Она и на сей раз отказалась; Лиля продолжала ее навещать, теперь-то уж, казалось бы, бескорыстно. Однако доверие было подорвано. С некоторых пор старухе начало казаться даже, что Лиля приносит ей отравленную пищу: иначе откуда бы взяться постоянной изжоге, и в особенности расстройству желудка, когда для нее характерно прямо противоположное? Конечно, трудно поверить, чтобы Лиля, которую она вывела в люди, чтобы она – и... и все же, объективно и непредвзято («строго антр ну? – да, строго антр ну»), у Лили имелись причины желать ей зла – из-за сорвавшегося дела с пропиской Вити; а главное – кому не в тягость такая обуза? Лиля не может вот так просто прекратить к ней ходить, это безнравственно – бросить одинокую старуху, которой ты многим обязана и которую уже приучила к своей постоянной заботе, и конечно, Лиля не смогла бы спокойно спать, зная, что она, Галя Абрамовна, теперь о ней будет все время думать; иное дело, если ее ненароком отравить, слегка (сколько ей надо, чтобы объяснить все смертью от старости?), – вот и решение вопроса: и обузы нет как нет, и некому о тебе плохо думать.

Но не надо держать ее за дуру – это еще когда Марк понимал! – она приняла кое-какие меры по обеспечению сохранности своей жизни: попросила ту же Лилию (а что делать, кого еще попросишь?) добавить к ее рациону молоко, известное своими антиотравляющими свойствами, только, прошу Вас, обязательно в пакетах (само собой, непечатых), такова уж стариковская причуда. То обстоятельство, что Лиля приносила противоядие нерегулярно, ссылаясь на мифические «перебои» с молоком в пакетах, только укрепляло Галю Абрамовну в наихудших подозрениях. Как и Лилины отказы разделить с ней трапезу. «Галя Абрамовна, я только из дома, это все вам, чтоб вы ели... ». Извольте видеть – чтобы она ела! Что вы на это скажете? Нет-нет, воля ваша, здесь дело нечисто, и она выведет отравительницу на чистую воду.

(В действительности дело обстояло так: съедая в склеротическом забытии очень большие порции и не умея объяснить столь быстрое исчезновение съестных припасов, старуха решила в конце концов, что кто-то крадет у нее из холодильника. Мало ли кто. Любой может подобрать ключ (а у Понаровских и просто был ключ) и, воспользовавшись ее глухотой и немощью, поедать всю эту вкусятину. Эта логика привела старуху к тому, чтобы держать все продукты в своей комнате на окне, всегда под своим присмотром; тут они, те из них, что способны были прокиснуть, разумеется, и кисли самым обычным манером. Меж тем в последние дни сильная утрата обоняния и вкуса наложила на давнишнюю уже потерю чувства времени – сколько-то дней или недель назад, она точно не могла сказать, тем более что сама потеря чувства времени происходила во времени же, как-то размазываясь по нему, растягивалась медовой нитью, текущей вместе с ним по

его течению, — так что если два-три месяца назад она всего-навсего не всегда отличала шесть часов вечера от шести часов утра (то и другое позднеосенней порой одинаково смеркается, можно так сказать? нельзя, но мы так скажем, потому что есть такая удивительно равновесная пора, когда одни и те же часы раннего вечера и раннего утра действительно совершенно одинаково смеркаются), то сейчас она могла посчитать сутки за три-четыре часа. В силу этих двух причин старуха и не ведала, что творила, употребляя в больших-пребольших количествах уже не суп или уху, а скорее мясной или рыбный кисель, да еще и запивая всю эту закуску стаканами молока. Все могло быть объяснено и выяснено, расскажи она Лиле о симптомах отравления и своих подозрениях; но в том-то и дело, что, желая разоблачить Лилю, она следила за ней, не раскрывая своих карт.

К числу тех немногих наслаждений, тех тонизирующих средств, которые еще оставались ей, кроме еды и питья, нужно причислить воспоминания. Не те главные, о которых говорят: «Будет, что вспомнить», — они-то, как старуха уже уяснила раз навсегда, либо вспоминались, не грея, совершенно посторонние ей сегодняшней, либо были такими, что лучше не вспоминать вовсе; нет, *этот* ларец следовало запереть и не открывать никогда, что, впрочем, как будто вполне устраивало и сам ларец тоже. Но другие, случайные, какие-то клочки и обрывки, побочные... вот в них она вдруг обнаруживала себя, проникшую туда как бы контрабандой и оставшуюся совершенно живой и своей себе нынешней, как говорили теперь, в доску. С такими воспоминаниями, однако, следовало обращаться умело. Они требовали работы, нелегкой, но благодарной. Уже отмеченная трудность заключалась в том, что сами по себе все вообще воспоминания ее подсохли, выпарив из себя влагу живого чувства и отшелушившись, подобно зажившей болячке. Некоторые из них были обманчиво податливы, но стоило всерьез попытаться оживить то или иное имя или событие, как попытка упиралась в тупик, словно бьешься головой о стену, обитую ватой. Нужно было уметь ждать, как рыбак в лодке, дремать рассеянно хоть целый день, словно бы не нуждаясь в том, что *оно* «клюнет», — и даже почувствовав, наконец, знакомое, радостно ожидаемое — *его* приход, слабое шевеление там, внутри, где *оно*, все *они* хранились, не убыстряя ничего, не напрягаться, чтобы *его* не спугнуть, и только когда *оно* появлялось явственно, *п р о - я в - л я л о с ь*, — «подсечь» и выловить.

Можно, впрочем, описать это и иначе: всю эту кучу отделившихся от нее воспоминаний нужно было очень неспешно, аккуратно разворошить, чтобы отыскать два-три, способные еще источать, пусть слабый, аромат. То был сбор не воспоминаний собственно, но их теней, отражений их в ее душе; сбор воспоминаний о воспоминаниях. Здесь не играли роль ни степень важности вспоминаемого, ни его когдатощная острота. Все, все, значительное и мелкое, и такое, что не запоминалось, не отмечалось вовсе в памяти тогда, когда происходило, *бывало* — все это было и прошло. Но не проходил, оставался с нею тихий свет ночника, какие-то всплывшие сейчас и зажегшие ее бледные щеки румянцем секунды горячего тепла, и пришедший и ушедший тут же, сто лет назад, неизвестно когда, при каких обстоятельствах и даже с *к е м* — лунный восторг, кратковременная вечность умиления: он уже спит, а ты все смотришь в темноту перед собой, — как неожиданно жива, как счастлива и сейчас истома этой позабытовчерашней одинокой ночной минуты. И не надо, не надо будоражить ее, пытаюсь безнадежно вспомнить, с кем, вспомнить лицо — твои потуги лишь вспугнут ее, и она исчезнет; вот видишь, что ты наделала, она уже растворилась в неразличимой ночи позабытовчерашнего.

Ловля теней: снова и снова — вкус пирога с морковью во дворе женской гимназии на углу... как называлась она тогда, теперешняя Рабочая? Поди вспомни; неважно; дальше. Снова крики: «Мла-ака, мла-каа, кому млакааа?» и: «Старье-

белье! Старье-белье!» – как слышалось не ей одной загадочное это восклицание, сколько ни говори себе, что никакой загадки тут нет, это значит просто: «Старье берем!»... летним розовым днем, улица без людей (в этих воспоминаниях тени предметнее, плотнее людей, люди же бестелесны и расплывчаты, как полутени), запах озона после того, как по раскаленному асфальту прошла поливальная машина... Добыча повещественнее: металлическая машинка для набивания папиросных гильз; она сохранила в себе сипловато-высокий, такой домашний голос хозяина: «Ну его к лешему. Сколько ни бейся, все не “Месаксуди”», – и изумительные усы, и огорченную улыбку, еще выше поднимавшую и без того чуть поднятые их заостренные кончики, и коричневую, влажную горку папиросного табаку, сушившуюся на подоконнике после того, как Алексей Дмитриевич проваривал его в сложном компоте (где были и мед, и ваниль, и капелька водки, и бог знает что еще), пытаясь, и безуспешно, домашними средствами добиться любимого вкуса и аромата пропавшего вместе со старым строем турецкого табака «Месаксуди» или отличнейших, отчего бы не поверить ему, она верила, отечественных папирос досоветской фабрики Бостанжогло; он как-то по-детски любил нюхать и чуть ли не сосать папиросы как леденцы, отчего и предпочитал такие вот, с восточно-пряным и душно-сладким запахом, папиросы тоже отменным – с чем он охотно соглашался, но продолжал курить свои «карамельки» – толстенным асмоловским, которые называли «пушками» и которые потом канули туда же, куда и «Месаксуди», и Бостанжогло: неизвестно куда. От воспоминания о папиросной машинке веяло уютом домашних, безопасных сумасбродств и чистотой чудачества. Да, чистотой... Ибо она была всего-навсего чистоплотна, а он был – чист; потому он и не ревновал ее никогда, даже в случаях, когда ревность была, кажется, оправдана. Он просто верил ей на слово; смешно, глупо, но как-то раз он взялся всерьез убеждать Софу, что тогда, в Стерлитамаке, «между Галочкой и Мариком ничего не было». Он верил ей просто потому, что сам всегда был верен и не умел представить те чувства и поступки, которых сам не испытывал и не совершал. А она, бессовестная, пару раз воспользовалась этим, ну, всего два раза за тридцать лет – если послушать других, она просто невинная голубица... ах, какое, какое сейчас это все имеет значение?

Однако такое не часто случалось выловить. Можно сколько угодно рыться в старых фотографиях, письмах, которые уже нет физической способности прочесть, обрывках траченных молью старых тканей: панбархата, английского ситчика, китайского шелка, креп-жоржета – все мертво, все холодно, все пусто (и опять вдруг эта фамилия – Модзалевский; кто он все-таки?). Но она продолжала перебирать свои ненужные сокровища, почти безнадежно надеясь, что никакая работа не останется без награды. Неизвестно, когда и как, но она будет вознаграждена... Устав от поисков, Галя Абрамовна задремывала, откинув голову на высокую резную спинку отцовского дубового кресла – и вдруг пробуждалась от тронувшего ее ноздри совершенно явственного запаха позднемартовского снега 1908-го, не то 10-го года. Начавший слегка таять снег сочился водяным соком; он пах арбузом. Однако в целом снег был еще крепок, и по нему неслась тройка, и в тройке сидела она, семнадцати- или восемнадцатилетняя Геля, Галя, одна из первых красавиц Самары, а рядом с ней Леонид Витальевич Собинов. Она не видела своего девичьего лица, не видела и лица Собинова, но чувствовала на себе, и тогдашней, и сегодняшней, его взгляд и хорошо понимала смысл упорного этого взгляда, в котором хищная мужская прицельность соседствовала с романтической туманноостью, наваянной, вероятно, выпитым шампанским, а сдержанная простота воспитанного человека необъяснимо уживалась с простодушно-победительной самовлюбленностью оперной знаменитости, привыкшей ко всеобщему поклонению. Это могло бы охладить Галин восторг, если бы она не чувствовала

всем женским своим естеством: Леонид Витальевич, несмотря на всю свою победительность, ею совершенно очарован и даже потерял слегка голову; она знала это и одновременно боялась этому верить, чтобы тоже не потерять голову, и желала только одного: продлить напряженную двойственность чувства, девичье-женское наслаждение игры с самой собой и с ним, щекочущую остроту неопределенности... Что-то сосало в груди, и сердце таяло, как снег, пахнущий арбузом, и еще крепко несло животным от теплой меховой полости, укутывающей им ноги, и пронзительно-синее глубокое небо мартовского вечера, ее семнадцать ли, восемнадцать лет, ее кунья муфта и кунья же шапочка, и замерзшая Волга за пару недель до ледохода...

Собинов умер. Давно. Кажется, еще до революции. Или после революции, но до войны? Или после войны, но до революции? Что раньше: до войны или после революции? Да, но, опять-таки, что позже: до революции или после? Какая разница, если человек умер. Доподлинно известно, что Собинов умер и находится в Ничто Никогда. Или... В любом случае, его ни для кого нет, он занят – его пригласили в плавание, от которого даже Собинов не смог отказаться. А Волга – есть еще? Не знаю; кажется, есть. Еще не так давно была, сама видела. По-моему, была. Вероятно, есть и сегодня, но уже не проверить.

Тройка остановилась на набережной. Они спустились на берег, прошли по нему чуть не по колено в подтаявшем здесь особенно снегу, взошли, дробно стуча каблуками, чтобы сбить с них снег, по деревянному трапу с металлическими, крашенными в голубой цвет поручнями, и оказались в летнем ресторане-«поплавке», вмерзшим в не тронувшийся еще волжский лед, ресторане, невесть почему открытым в это время года. Они сели за столик, покрытый, как водилось в подобных заведениях, несвежей скатертью со следами предшествующего пиршества, и обратились к подошедшему молодцу, смахнувшему что-то со скатерти, а затем взмахнувшему самой скатертью и водрузившему ее обратно на стол, но уже другой, более чистой, как ему, вероятно, казалось, стороной. Они заказали на первый случай водки и горячих калачей с мелкой стерляжьей икрой, и сразу же «много горячего чаю», как попросила Галя. Чокнулись; Собинов махнул рюмку в рот. «С морозцу, – сказал он. – А хороша здесь, должно быть, уха. Ее и закажем». Она не спросила его, почему ему пришло в голову заказать уху в марте, когда никакой свежей рыбы и быть не могло, разве что любители подледного лова продали свой улов ресторану – спрашивать об этом Леонида Витальевича было столь же логично, как и спросить себя, а почему вообще в это время года открыт «поплавок», но ей не пришло в голову ни то ни другое, наверное, потому, что Собинова после этих его слов об ухе вдруг не стало и больше он уже не появлялся, а над ее головой неожиданно зажглась сигнальная лампа-звонок в 150 свечей, и она поняла, что находится в ресторане-«поплавке» у себя дома и кто-то пришел. Она не удивилась, как не удивилась и тому, что идти до самой двери было легко, не как обычно. За дверью стоял муж. «Здравствуй, Алексей Дмитриевич, – сказала она. – Как поживаешь?» – «Неплохо, Галочка, – отвечал тот, – тут у нас, знаешь, не так плохо. Правда, папирос Бостанжогло и тут нет, как нет вообще никаких, но хоть нервы с происхождением не мотают». – «Что тебе собрать в передаче?» – «Ты знаешь, Галочка, у нас тут все есть, точнее, нет ничего, чего бы нам не хватало». – «А папиросы?» – «Я уже привык обходиться без них. Нет смысла начинать, если уж не куришь, тем более, что папирос Бостанжогло нет и у вас». – «Ну, передавай привет всем, Марку и Софочке». – «Ты знаешь, что-то я их нигде не вижу. Но если встречу – обязательно передам». И тут только Галя Абрамовна заметила, что Алексей Дмитриевич одет в синий спортивный костюм Марка Борисовича, а этого быть никак не могло: ни за что на свете, никогда и никому, даже своему лучшему другу Алеше, Марк не дал бы и на пять минут поносить свой заветный спортивный костюм. Тогда только старуха поняла, что, вместо того чтобы, как она

решила, проснуться от запаха снега 1908-го то ли 10-го года, она угодила из одного сна в другой. Вот теперь она проснулась. Рот ее был полон сладкой леденцовой слюны, стекавшей из уголка рта на подбородок, а оттуда, делая перепад, как бы слюнным каскадом – когда-то она видела водяные каскады в парке Петергофа – на белый воротничок гимназического ношеного-переношенного платья. Уж не в нем ли она ехала тогда на тройке с Собиновым? Что ты говоришь! ни в коем случае! это даже предположить как-то странно! Я была в чем-то новом, совсем новом и взрослом, и вечером. Да, а теперь у тебя текут слюны, как у слабоумной. И снова ей пришлось убедиться, что боязнь будущего есть дело пустейшее, все всегда случается не так, как ей боялось, можно так сказать? и так нельзя, но что делать, если ей боялось заранее, и никогда – никогда! – не угадаешь заранее, чего на самом деле следовало бояться. Как боялась она когда-то стать в старости слюнявой маразматичкой (до старости все ж таки, выходит, дожить предполагала, и это самоуверенное предположение сбылось), вызывающей у всех, и она же первая, отвращение. И вот, нате пожалуйста, дожила-таки, слюны текут каскадом – а она совершенно, то есть аб-со-лют-но равнодушна к подобным пустякам.

Если слюнявость чем-то все же неприятно отзывалась в ней, так это вовсе не физиологической неприглядностью, а тем, что являлась непреложным свидетельством не только полного превосходства над ней Силы, с которой старуха боролась, но, главное, того, что борьба эта, с ее запланированным исходом, шла к концу уже не по дням, а по часам.

Хуже всего, что нападению теперь подвергся, казалось ранее, надежно укрытый на последней глубине сам оплот сопротивления, сказать ли газетным языком, подпольный центр, руководивший борьбой. Старческий полумаразм размывал границы ее «я», лишал его отчетливости самоощущения и тем катастрофически снижал ее бдительность.

Старуха старалась как могла; но результат ее усилий, и без того малоудовлетворительный, становился все меньше по мере того, как она все меньше различала себя в движущемся потоке частиц окружавшего ее маленького – и все-таки куда большего ее самой – пространства. Странно: если бы не страх смерти (а его-то она и пыталась преодолеть или предупредить), заставлявший ее чувствовать границы своего напуганного, сжимавшегося уколотой инфузорией-туфелькой «я», заставлявший ощущать, что она, Галя Абрамовна – это одно, а лупа Алексея Дмитриевича, в которую она сейчас смотрит, – все-таки другое, отдельное от нее, хотя и совмещенное с ее смотрящим глазом, – да, если бы не смертный страх, она, как ни старайся, совсем затерялась бы в потоке то разреженных, то скученных частиц и сгинула раньше собственной смерти, заблудившись в млечных туманностях угасающего сознания.

Опасность подстерегала ее на каждом шагу путешествия в тумане; иногда старуха словно ненароком, просто и естественно попадала в положения, осознавая которые позже, задним числом, не могла бы надивиться вдоволь, сохрани она способность удивляться, тем совершенно невозможным коленцам, которые выкидывала ее бесповоротно нормальная доселе психика. Так, однажды она оказалась младенцем, сосущим материнскую грудь. Галя Абрамовна поняла это, ощутив во рту губчатую шероховатую плоть, заливавшую рот, если прихватить ее изо всех сил губами, теплой, сладковато-жирной, необыкновенно сытной жидкой пищей. Вместе с тем, по ощущению... сладостной? да, именно так, сладостной боли в прикушенной груди и присутствия совсем рядом, у груди же, какой-то теплой, родной тяжести, старуха поняла, что матерью, ее питающей, была она же сама. Тогда она приняла это как данность; но позже долго ломала голову над фантастическим происшествием, казавшимся столь обычным в тот момент, когда ее так просто поставили перед фактом. Старуха смутно догадывалась, что всему виной

ее кровь, кровь рода, обрекаемого сейчас в ней на уничтожение, древняя кровь, за века своего существования привыкшая только к жизни и теперь, ведомая на смерть, упираясь от ужаса перед незнакомым темным подъездом-входом в Ничто Никогда, все гнувшаяся и гнувшаяся, упираясь, – согнулась в конце концов в кольцо, закоротившись на себя и потекшая сама в себя. Да, это «ветхая днями», но живая, сильная кровь Израиля застоялась в ней, задержавшись слишком надолго внутри ее бессилия, не имея возможности перелиться в следующие, новые жилы, и теперь, закинув от долгого стояния, бродила в ней, опьяняя ее седую голову, играя с ней глупую пьяную шутку, не лишнюю, впрочем, как это и бывает именно по пьяному делу, своей правды и своего смысла: что у трезвого на уме...

Ведь она и впрямь была ребенком! Она так страшилась и так хотела, чтобы ее защитили. Ей было так плохо одной – и так хотелось, чтоб ее пожалели. И Галя уже не боялась уронить свое человеческое достоинство, в которое так долго верила. А теперь она стояла в зеленом тазу с отбитой местами за пятьдесят лет пользования эмалью, маленькая, голая, и Лиля намыливала ее губкой с детским мылом, потому что жесткая мочалка и всякое другое мыло вызывали у нее детское покраснение кожи, и поливала ее из кастрюльки теплой водой, и вода текла в таз и на пол мутными, чуть пенистыми потоками, похожими на сильно разбавленное молоко; когда теплая вода падала на нее сверху, ей становилось тепло – и тут же ужас как холодно; местами обвисшая, местами, наоборот, съежившаяся, уменьшившаяся кожа покрывалась пупырышками, а Лиля продолжала тереть ее мягкой губкой и поливать теплой водой, и от перепадов температуры и нежно-плотных прикосновений губки все в ней сладко-щекотно замирало – и вздрагивало, замирало – и вздрагивало... В такие минуты она не помнила своих подозрений по поводу Лили; перед ней теперь была совсем другая Лиля, не коварная, расчетливая отравительница, но Лиля – родное существо, гораздо большее и куда более сильное, нежели она сама, – взрослое существо, способное защитить маленькую Галю от всего страшного-престрашного; и старуха-ребенок все норовила прижаться к Лилиной груди, спрятать на ней свое лицо и мокрое голое тельце. Она чувствовала сейчас буквально то, что люди вылеплены из одного теста, и чувствовала себя маленьким кусочком теста, хотящим более всего прилепиться обратно, *вернуться* в этот большой, материнский кусок теста, от которого ее и оторвали, чтобы вывести в жизнь: в непосильную отдельность бремени каждого; но вернуться, склеиться с ним до неразличимости – не получалось, из этих попыток не выходило ничего, кроме тупых тыканий головой в мягкую, податливую, но все равно, все равно и всегда отдельную, обособленную Лилину грудь, – ничего, кроме потеков и ошметок мыльной пены на Лилином платье, и старуха плакала от невозможности спрятаться, защититься от Смерти, невозможности тем более горькой, что спасение, укрытие было – вот, вот, совсем рядом; а Лиля все мылила и смывала, мылила и смывала, молча, неизвестно о чем думая, а старуха плакала от счастья хотя бы посильного, хотя бы косвенного соединения с родным сильным существом, и сердце ее начинало стучать быстрее от подключенной к нему энергии Лилиного сердца, и она знала, что не умрет вот сейчас, и вот сейчас не умрет, и сейчас тоже, и опять не умрет сейчас, и никогда сейчас не умрет. Она жива сейчас и сейчас жива сейчас, и всегда будет жива сейчас, вечно жива сейчас, вечно и вечно, во веки веков сейчас.

«Слава богу, на этот раз мне не было так страшно, как прежде, я даже слышала тихую музыку, а главное – не было темно. Как я благодарна. Силы оставляют меня. Прощай, мой любимый...»⁹.

⁹ Здесь даётся вышеприведённый отрывок из «Виктории» Гамсуна в советском переводе Хинкеса

Старуха боялась, что Смерть придет ночью, и надеялась, что та придет утром или днем; так, ей казалось, легче уйти: в светлое, не во тьму.

Смерть пришла под вечер, когда ее меньше всего ждали, в долгий июньский вечер, чей рассеянный свет ясен, мил даже полуслепому человеку. Пришла, когда ее не ждали.

Галя Абрамовна сидела за столом и разводила на нем костер из спичек, клочков исписанной бумаги и стружек карандаша. Странно, столь эффективный способ защиты от холода, во всяком случае, способ согреть стынущие кисти рук, никогда прежде не приходил ей в голову; казалось бы, что может быть проще? Она поднесла зажженную спичку к клочку газеты, и тут в ней обнаружилась Смерть. Она оказалась в старухе мгновенно, с невозможностью не быть узнанной сразу. Так вдруг мгновенно возникает жажда, и кажется, ты всегда только и хотел пить и только пить.

Снова она не уследила, снова – и в последний раз.

Смерть быстро отключила внешний, живой вечерний свет и включила свой фонарик. Галя Абрамовна погрузилась в кромешную тьму, но могла зато ясно видеть внутри себя. Она поняла: он пришел, ее час. Потому что страх смерти, больше или меньше, но безотвязно мучивший ее, впервые за долгое время исчез совсем. Чтобы уступить место самой Смерти. Посланник больше не нужен, когда является тот, кто его посылал.

Это исчезновение страха было самое страшное, что с ней могло произойти. Самое плохое. Она ощутила физическую тяжесть смертельной правды как ношу, надорвавшую ее сердечную мышцу, сильнейший гул миновал ее давно мертвые перепонки и вошел ей прямо в мозг, и мозг расширился от гула, распирая череп. Кто-то, взяв ее за затылок, властно пригнул ее голову книзу, в то время как низ тела от поясницы будто подбрасывало к потолку; между тем старуха как сидела в кресле, слегка наклонив голову над столом, так и оставалась сидеть.

Игра в кошки-мышки кончена; ее пришли убивать. Ее уже убивают. Она убита. Ее больше нет – есть только привычка думать, что она есть. Привычка жить по привычке.

Сопrotивление бесполезно. Она – если все-таки это была она, еще была, если она ошиблась, решив, что ее больше нет, – забилась в угол себя самой, откуда видела, как, пуская слюну, дергаются ее белые губы, оцепенелая, словно натянутая на раму устремившимся вверх давлением и поднявшейся нежданно тошнотой. Во всем покорная отныне своей победительнице и госпоже – Смерти.

Древнее упрямство, гордыня ее отцов и дедов, спрессованные в ней, последней в их череде, хрустнув, переломилась, как соломинка в сильных руках; и точно так же в тот же момент вошла ей в сердце тонкая горячая игла, шипя от охлаждения ее остывшей кровью – и, хрустнув, обломилась, когда сердце, повиснув на вошедшей в него игле, сломало ее собственной тяжестью, сохранив в себе отломившийся кончик.

Вот она, ее Кашеева смерть.

Не страшно, только больно; так больно, так... убей быстрее, чтобы перестало задыхаться. Чтоб не вдыхать и не выдыхать.

Если Смерть не вытащит кончик иглы из сердца, она умрет от боли невозможных вдоха и выдоха; если вытащит – умрет от кровотечения сердца. Ей ничего не оставалось, как покорно ждать решения Смерти, каким из двух способов лучше расправиться с ней.

Неожиданно боль уменьшилась; со спадом боли спало и давление и почти прекратилась тошнота.

Она поняла продырявленным, уже истекшим кровью и готовым к наполнению новым знанием пустым сердцем: это награда за ее поведение. Подтверждалось – она имеет дело с Силой одушевленной и чего-то хотящей от нее. Своей готов-

ностью подчиниться и дотерпеть до конца жизни Галя Абрамовна этой Силе – угодила, получив в награду облегчение смертных мук. Она получит еще сил расстаться с собой, если будет и дальше слушаться.

Старуха полностью положились на Смерть. На нее одну теперь и была вся надежда; как бы та ни была зла, похоже, сейчас старуха, пусть на краткий срок, попала в число ее любимчиков. Смерть не оставит ее своей милостью – ей и нужно-то самую малость, пару минут переносимых боли и тошноты, чтобы успеть умереть.

Ей дали видеть, что происходило внутри нее, при свете тусклого фонарика. Галя Абрамовна видела, как душу ее отделяют от тела. Теперь она воспринимала происходившее с ней как ласку, чувствуя, как от внутренних стенок ее естества отлепляют ненужный уже, но присохший к стенкам души пластырь отжившей свое жизни, доставляя ей нежную, щекощущую боль наслаждения. Нега становилась все более пронзительной, и Галя Абрамовна все сильнее чувствовала связь ее с чем-то давним и некогда важным, чего никак не могла вспомнить и о чем помнила только, что *этого* она не вспоминала никогда.

Нежная боль еще усилилась – и тут она вспомнила: запах деревянного дома, каким бывает он в конце долгого жаркого июля, днем: ровный запах нагретых сухих старых досок и влажной половой тряпки; увидела луч июльского солнца, бьющий в окно, расщепляя и превращая в пыльное легкое кружево все, что стоит на его пути, даже сам воздух, остановившийся воздух остановившегося июльского дня в Самаре 1918-го года. В луче стоит кружевной человек, и человек этот – квартирующий у них чешский поручик Мирослав Штедлы; и он смотрит на нее выдвигающимся из луча, как объектив из фотоаппарата, взглядом. Его розовое, по-детски пухлощекое, по-взрослому бритое лицо с синеватыми щеками, его странные белесые ресницы; выдвинутый вперед взгляд из-под тяжелых, иностранных век следует за всеми ее передвижениями по комнате; ее ноги, одетые в полосатые, синеватые носки до икр и обутые в красные сафьяновые чупяки. Ноги передвигаются по дощатому вошечному, скрипящим половицам... Мирослав приближается, продолжая неотрывно глядеть на нее; легкий запах подмышек, как когда обтираются холодной водой до пояса, но не очень тщательно, и одеколона после бритья. Она чувствует вдруг, как эта здоровая жизнь иного, непохожего на ее, мужского тела становится для нее необычно интересной, как между ее и его телом устанавливается связь. Ее камнем вниз от страха впервые – желанная упавшее сердце, ее душа, взалкавшая впервые выхода из тела и открывшая на вылете: выйти за пределы тела почему-то можно лишь при помощи тела. Чувство, заставляющее мириться и со стыдом впервые обнажаемого перед иным, ино-полым существом тела, и с болью первой близости, наполняя и стыд, и боль густой, медово-тягучей сладостью: чувство неизбежности физического выражения любви. Плотское чувство духовной природы даже мимолетной, даже ненастоящей, подменной любви, как, сам того не зная, – однако с ее полужнающего согласия, – подменил Алексея Дмитриевича Мирослав, слишком своевременно оказавшийся на ее пути и ушедший затем навсегда из ее жизни (так, что она почти никогда – а то, что с е й ч а с, вообще ни разу – и не вспоминала о нем, отце своего ребенка), вместе с остатками Поволжской группы полковника Чечека, откатившимися к Уралу после взятия Самары 8-го октября 18-го года 4-й армией Восточного фронта...

И Галя Абрамовна увидела снова тогдашние свои ноги, но уже без чупяков, в одних носках, скрывающих до икр ноги, голубовато-белые во всю обнажившуюся до бедра длину; она испытала снова остро-сладкое бесстыдство соединения, и энергия любви слилась в ней с энергией смерти в общем стремлении вовне, за пределы себя.

В страшном блаженстве исхода.

Границы тела размывались, проницаемые струящимися потоками ширящейся души, так, что тело не могло уже отдавать себе отчет, каковы его точные формы;

место же четкого контура тела в наступившей с приходом Смерти темноте заняло слабое свечение, вызываемое, вероятно, трением души о тело при переходе его границ.

Старуха решила, что так и умрет, истекши душой, как кровью, но она ошибалась – с ней продолжали что-то делать, и она поняла, что ее только готовят к тому, чтобы умереть и чтобы все получилось правильно.

Вдруг ее закрутило и понесло, и бросило на самое себя, как девятибалльная волна бросает корабль на рифы. Но она не разбилась; вместо этого Галя Абрамовна ударилась о мягкое, податливое нарочно – затем, чтобы затянуть ее в свою воронку. Этой воронкой оказалось ее собственное горло. Ее стремительно несло вверх, лишённую тяжести, как выныривают из глубока на поверхность. Однако вынырнуть, выхлестнуть из себя она никак не могла, потому что вынырнуть можно было только через горло, а оно у нее всегда было узким... Галя Абрамовна комом застряла у себя в горле, испытывая сильнейшие муки удушья, виновницей которых была сама же. Она попыталась вернуться на прежнее место, чтобы разогнаться и все-таки выскочить, но вернуться против течения не получалось – слишком сильным был напор Смерти, выдавливающей ее из себя самой, как зубную пасту из тюбика, несущий ее вон, во тьму крошечную, туда, где она – кончалась. Старуху выдавливало сквозь ее слишком узкое горло, забивавшееся ею, – и ни с места. Она не могла уже переносить эту давящую Смерти, не дававшую ей толком умереть, а ее все продолжали вбивать ей в горло, раздирая его, слишком грубо помогая испустить дух; все вкалывали ею по ней же, заколачивая ее – в нее, чтобы она, наконец, вышла... И старуха закричала от бесконечной невыносимости боли, как кричала когда-то во время родов – ей казалось, как и тогда, что боль нужно пере-кричать, чтобы та умолкла, – закричала изо всех сил: «Это когда-нибудь кончится?!» – закричала холостым криком, который ее забитое ею горло не могло издать вслух, но в мертвых ушах, словно они ожили от Смерти, зазвенело: «Когда-нибудь, когда-нибудь это коОончится?!!» В мозгу все лопалось от неистового протяжного крика, но сама Галя Абрамовна немотствовала, и только ходил судорожно ее кадык, как если бы она подавилась слишком большим куском.

И все же в этой невообразимой боли было, как и тогда, во время родов, что-то, что помогало ее переносить; то, что жило в ней всегда, что делало возможной, почти сносной ее жизнь последних дней, когда бессмысленность и безнадежность ее выяснились совершенно. Сила, скрывавшая в себе ответ на все безответные вопросы последних дней; а между тем ее-то, эту силу, старуха не брала в расчет, так как слилась с ней настолько, что не в состоянии была обнаружить ее существование. Она повсюду искала очки – в очках, все время бывших у нее на носу.

Только теперь, отделившись от жизни, значит, и себя живой, она услышала впервые извне голос этой силы, столь сильно за долгую жизнь соединившейся с ее естеством, что старуха чувствовала ее своей и только своей, такой же частью себя, как сердце или мозг, и не умела увидеть ее отдельно. Для нее это была она сама, Галя Абрамовна, и это она своей силой сопротивления противилась силе своего врага – Смерти. И вот теперь старуха услышала донесшийся извне-изнутри голос этой отделившейся от нее силы, голос, не заглушаемый больше умолкнувшим навек шумом крови. И эта бывшая сила ее сопротивления сейчас вдруг странно и страшно соединилась не с ней, но с Силой Смерти. Обе тянули ее в Ничто Никогда, убивая по дороге. Но когда они взяли ее за обе руки, раскатали, кружа, и бросили туда, – сквозь тошноту и удушье, сквозь треск раздираемой земной материи, – тогда-то навстречу ей, брошенной с размаху в печь Смерти, уничтожающей тело и душу без остатка, чтобы их не испачкать (как и хотелось ей еще так недавно), навстречу ей – или изнутри ее? кто скажет? – раздался голос надежды, жившей, выходит, и в безнадежном отчаянии смертельного распада и вышедшей из него живой, хоть и поврежденной.

И ей открылась ее непостижимая, но властная принадлежность живой Смерти. Вопреки всему, что она знала о зле, та, которую она называла Высшей Злой Силой, та хотела ей помочь. Чувствуя, как незримые могучие руки ее тащат вверх из трясины разлагающегося гнилого тела, Галя Абрамовна успела все же ощутить – эта сдвоенная Сила, как ни странно, чуть ли не нуждалась в ней, Геле Абрамовне Атливанниковой! Ее не могли просто так прихлопнуть – коль скоро за ней пришли специально, значит, она на учете, она в исчисленном, известном поименно ряду. Ужасный, невыносимо ужасный уход ее в Ничто Навсегда был, откладывался там, у Нее, вертикально, подобно тени на стене, он был неслучайным, серьезно-важным, живым. Старуха думала, что жизнь это смерть, и так оно и было, стоило всего лишь поменять слова местами: смерть была жизнью.

Сердце перестало биться, кровь остановилась в жилах, а Галя все еще корчилась и глотала, и глотала, безуспешно пытаясь пробиться в смерть, в жизнь, сквозь узкий коридор, сам пробивающийся куда-то и оттого все более вытягивавшийся и сужавшийся. Она согласилась уже с правильностью происходящего, но хотела умереть поскорее – удушье превышало ее силы. Но Гелю никто не учил, как умереть по своему хотению, и, неумелая, она отдалась тем, кто умел умерщвлять, как надо.

Тогда горло ее поддалось вдруг; в несказанной тоске ее вынесло из себя, во что-то белесо-темное. Она выдохнула себя из себя с последним облегчением и падала теперь вверх, в разверзнувшуюся над ней бездну. Старуха поняла, что покинула наконец себя, когда увидела под собой свое маленькое детское тельце в зеленой шерстяной фуфайке поверх гимназического платья с белым воротничком, полужащее в слишком большом для него кресле с черной резной спинкой, сплюснутое, словно оттиснутое печатью, подобно мышке, настигнутой мышеловкой, или, чтобы подыскать более приличное сравнение, хотя все приличия потеряли теперь всякую цену, – подобно печатному изображению на тульском прянике. Увидела сосульку леденца, тающую на ложечке вывалившегося языка, остекленелые, выпученные от удушья глаза на бывшем своем лице, и поняла, что умерла и мертвые веки некому закрыть, и это неважно, потому что она умерла, умерла во веки веков, умерла сейчас, вне всяких сомнений уйдя в Ничто Навсегда.

Выбыв из живущих, дыша смертью, она не удивлялась, что огонь, разведенный ею на столе ясно видимой из Смерти очень маленькой комнаты, перекинулся на скатерть, прожег ее, перекинувшись на дубовый стол, и дым от костра спаленной жизни потянулся за ней сквозь прозрачную крышу. Это был непорядок, но, бессиловая устранить его, она не волновалась больше, зная, что дыму все равно не догнать ее; потом исчез и дым, и костер, и комната – все, кроме дыхания, изменившегося, забывшего о необходимости вдыхать и выдыхать: можно было обойтись и без этого, просто дыша самим дыханием. Оно было зримым, это второе дыхание: прямая нить прозрачного серебряного света. Оно и она стали едины, она ступала легко-легко по серебряной лестнице вверх, все дальше, все ближе, наконец, соединяясь на пересечении, как периферийная железнодорожная ветка с главной, с золотым лучом, исходящим от светящейся точки, тихой и малой, но неизмеримо большей, чем она, чем все-все-все, чем бесконечность, которую можно увидеть только когда нельзя и вообразить, когда увеличиться уже невыносимо и невообразимо – и все-таки увеличивающейся и, став уже больше бесконечности, выйдя за ее беспределы, продолжающей, несмотря, ни на что светить золотым лучом навстречу ей, маленькой Гале.

И...

Москва 1983, Кёльн 2006